



РУССКАЯ МИСТИКА

ПРОФЕССОР  
БЕССМЕРТИЯ

МИСТИКА  
И  
МАГИЯ

# Митрофан Васильевич Лодыженский

## Невидимые волны

*Текст предоставлен литагентством «Неоглори»*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=183158](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=183158)*

*А.Н. Апухтин, М.В. Лодыженский, К.К. Случевский Профессор бессмертия. Сборник мистических произведений русских писателей:*

*Феникс; Ростов-на-Дону; 2005*

*ISBN ISBN: 5-222-05845-X*

### **Аннотация**

В повести «Невидимые волны» автор показывает путь от неверия и сатанизма к Богу.

Повесть публиковалась в сборнике «Профессор бессмертия. Мистические произведения русских писателей», Феникс, 2005 г.

# Содержание

Об авторе	4
НЕВИДИМЫЕ ВОЛНЫ	6
От автора	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	8
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	84
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	139
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	199
ЧАСТЬ ПЯТАЯ	263
ЭПИЛОГ	339

# Митрофан Лодыженский

## НЕВИДИМЫЕ ВОЛНЫ

Об авторе

**МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОДЫЖЕНСКИЙ**

**1852–1917**

*Философ, публицист, драматург, прозаик. Из старинного дворянского рода. Занимал высокие административные посты (губернатор, вице-губернатор в Туле, Витебске, Могилеве и других городах). Тончайший исследователь мистических устремлений христианской души, которому вместе с тем присуща динамичная, рационалистическая система мышления. Оказал глубокое влияние на мировоззрение Л. Н. Толстого.*

*Главный труд М. В. Лодыженского – «Мистическая трилогия» (в трех частях, Спб., 1914–1915) – философское исследование путей человеческих как к Богу, так и к Сатане. В 1917 г. была опубликована повесть Лодыженского*

*«Невидимые волны».* В ней автор показывает путь от неверия и сатанизма к Богу. В повести мы встречаемся как и с реальными историческими персонажами, так и с вымышленными героями – колдун Батогин, странник Никитка.

*В основу повествования легли семейные рассказы Сушковых, родственников Лодыженского.*

# НЕВИДИМЫЕ ВОЛНЫ

## От автора

Когда-то, во времена нашей юности, нам приходилось слышать не раз интересные рассказы одного почтенного старика-помещика, проведшего свою молодую жизнь довольно бурно, – человека, который в глубокой старости умер в монастыре, куда поступил в 1875 году под именем отца Вассиана. Содержание этих рассказов относилось к первой половине прошлого столетия. Оно заключало в себе богатый мистический материал.

В наше время многие интересуются вопросами из области таинственных явлений. Мы решили сообщенные нам эпизоды из жизни знакомого лица реставрировать в беллетристической форме и ввести их в предлагаемую ниже повесть.

Таким образом, в повести многие из приведенных мистических сцен не вымышлены, а действительно пережиты отцом Вассианом.

*М. Л.*

*Петроград*

*1-е ноября 1916 г.*

*Эта книга  
посвящается сестре моей  
Варваре Васильевне Сомовой*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I

Время нашей повести – тридцатые и сороковые годы прошлого столетия. Время это – эпоха расцвета крепостного права, на почве которого разгуливались человеческие страсти.

В те времена в одной из наших центральных губерний прославили себя бурной жизнью и яркими авантюрами двое господ из дворян-помещиков – отец и сын Сухоруковы.

Люди предприимчивые и страстные, жаждущие острых ощущений, любители рисковать – господа Сухоруковы творили в те времена невероятные даже для той эпохи дела. Нехорошая слава была у этих помещиков. В особенности дурно говорили о Сухорукове-отце. Плохая репутация отца ложилась и на сына. Широкая жизнь Сухоруковых требовала больших средств, и отец Сухоруков умел находить эти средства, изыскивая их всякими путями; изобретательность его не знала границ. Он создал, например, из своих крепостных людей целую организацию для спаивания окружного населения безакцизным вином – организацию, дававшую его винокурению большие доходы. Он вырубил у казны с помощью тех же крепостных людей и подкупа лесных надсмотр-



щиков корабельную рошу; отбил у одного монастыря находящиеся по соседству богатые рыбные ловли и дело об этих ловлях выиграл в тогдашней «Палате гражданского суда» и прочее и прочее. Местные власти по отношению к нему были бессильны. Умение Сухорукова дать взятку, его великая дерзость, наконец, само право крепостничества делали его неуязвимым. К тому же Сухоруковы обладали способностью привязывать к себе своих рабов. Из числа их они выбирали тех, на кого можно положиться. Все сходило с рук этим самоуправцам.

У старика Сухорукова были связи в Петербурге, оставшиеся после смерти жены. Он пользовался ими в крайних случаях, чтобы гасить те дела, которые грозили разгореться, несмотря ни на какие местные воздействия и хлопоты. Был еще у него в Петербурге брат-сенатор, но от него помощь для замазывания сухоруковских деяний была плохая. Этот сенатор, старый холостяк, человек сухой и надменный, относился к своему провинциальному брату с презрением, осуждая его жизнь. У него с братом были старые счеты. Они в молодости рассорились из-за дележа наследства после отца.

Жили помещики Сухоруковы широко. Это было разливанное море для приезжих гостей. В Отрадном, резиденции Сухоруковых, был большой барский дом, была великолепная охота, был конский завод и другие барские затеи.

Ко времени нашего повествования старик Сухоруков, которого звали Алексеем Петровичем, несмотря на свои 60

лет, был еще крепкий здоровьем человек. Он казался далеким от усталости жизнью. Он умел, по-своему, не скучать и разнообразить свои впечатления. Для его развлечения в Отрадном прикармливались приживальщики и шуты. В своих эротических забавах он обставлял себя всякими удобствами. Он не любил, как он говорил, «кислых историй» и развращал прекрасную половину человеческого рода ядом легкого эпикурейства, развращал своей веселой чувственностью. В женщинах он чуждался, как он говорил, «глубоких натур». Он уже осекся раз в жизни на такой натуре. Такой была когда-то его жена, которая давно уже умерла. За всю свою жизнь он, кажется, только одну ее и боялся. И надо правду сказать, что это была выдающаяся женщина по своей воле и уму. Кроме того, обладала она красотой и талантами и была очень религиозна. Иконостас отраднинского храма был расписан ее личными трудами; иконостас этот и посейчас цел. В его живописи чувствуется старинная манера письма. Это были копии с икон знаменитого Боровиковского.

Молодой Сухоруков потерял свою мать, когда ему было 11 лет. О ней у него осталось воспоминание, как о существе исключительно обаятельном. Мать умела привязать к себе своего ребенка. Она сама начала его учить, была ему воспитательницей. У ребенка были хорошие задатки; он был добр и отзывчив, несмотря на своеволие и страстность.

Приведем один случай из детства молодого Сухорукова, ярко его рисующий.

Васенька Сухоруков был большой любитель птиц и в особенности соловьев, которых имелось много в отряднинском парке. Когда Сухорукову было десять лет, один из дворовых людей рассказал ему, как можно поймать соловья. Васенька, выслушав этот рассказ, немедленно в уме своем решил, во что бы то ни стало, сам поймать птичку и посадить ее в клетку, которую он нашел на чердаке отряднинского дома. Мальчик он был бойкий; матери его, Ольге Александровне Сухоруковой, усмотреть за ним было нелегко. В начале весны под окном комнаты Сухоруковой в кустах завелся звонкий соловей. Ольге Александровне очень понравилось по вечерам слушать его пение. Но ее удовольствие длилось недолго. В один такой вечер соловей исчез, и песни его прекратились: его поймал Васенька. Тогда Ольга Александровна подняла тревогу: не поймал ли соловья кто-либо из дворовых или из детей-подростков с целью продать его в городе, так как соловей был очень хорош. Чтобы спасти соловья, Ольга Александровна приказала собрать к себе дворовых детей и подростков и пригрозила наказать их всех, если они не найдут соловья. При этом случайно присутствовал Васенька. И вот, не желая, чтобы кто-нибудь из детей за него пострадал, он улучил удобную минуту, побежал на чердак, где висела клетка, и выпустил соловья, рассчитывая, что соловей опять запоеет под окном его матери. И действительно, в этот же вечер соловей опять защелкал и засвистал. Васенька был счастлив, что спас дворовых детей от грозившего им горя. Во всем этом

он потом сознался.

Ранняя потеря матери отразилась на будущем мальчика. По смерти жены старик Сухоруков поручил дело воспитания Васеньки французу-гувернеру. Этот гувернер, по тому времени весьма образованный человек, наряду со своей образованностью был существом совершенно безнравственным. Его влияние на питомца, конечно, не могло быть полезным, но он все-таки исполнил свою задачу. В полтора года он подготовил мальчика для поступления в Москве в знаменитый университетский пансион, этот аристократический рассадник образования в России.

Юноша Сухоруков пробыл в университетском пансионе пять лет, но университетского курса не прошел. Ему очень хотелось скорее пожить на свободе, поступить в военные, надеть блестящую форму офицера, сделаться независимым человеком. И он добился согласия отца на поступление его, семнадцатилетнего юноши, в один из гусарских полков, где его скоро произвели в офицеры. Прослужил Сухоруков на военной службе около восьми лет и вышел в отставку, вызванный отцом в деревню, чтобы разделить с ним его житье-бытье.

С приездом Васеньки к отцу жизнь последнего пошла более весело и оживленно. Молодой Сухоруков оказался приятнейшим компаньоном. Он так же, как отец, не чуждался греховной жизни, имел любовные приключения. Однажды даже на смену крепостной любовницы (ими он обзавелся

сейчас же по приезде в деревню) привез из Москвы знаменитую в то время цыганку Стешу, которая влюбилась в черноглазого красавца-барина за его чудный голос и, что удивительно, имела терпение прогостить в Отрадном целых два месяца. Ведь никто, даже из настоящих цыган, не умел так хорошо играть на гитаре и ладно вторить, как «мил сердешен друг Васенька».

Мы застаем Сухоруковых в Отрадном – в имении, созданном трудами многих поколений, в самый разгар их широкой жизни. Все, казалось, у них тогда ладилось, все шло весело и беззаботно. Только немногие знали, что над этой их широкой жизнью стали собираться темные тучи, что у Сухоруковых уже не хватает денег на безграничные барские аппетиты, несмотря на ухищрения добыть их всеми способами.

Наконец, в самое последнее время – к началу нашего рассказа, стало выясняться, что сухоруковскому состоянию грозит даже гибель, что уже пропущено несколько сроков платежа по залогу имения в Опекунском Совете, этом благотворительном финансовом учреждении для тогдашних помещиков. А с Опекунским Советом в то время шутки были плохие, в особенности когда все законные льготы были исчерпаны. Тут уж никакой протекцией, никакими взятками от блюстителей казны отделаться было нельзя; накопилась же к платежу сумма весьма значительная.

И вот, чтобы спасти положение, старику Сухорукову сделалось необходимо раздобыть десять тысяч рублей ассигна-

циями; причем надежд на частные займы никаких уже не было. Все, что в округе можно было занять, было занято. Все источники были исчерпаны.

## II

Молодой Сухоруков был богато одарен, начиная со своей внешности. В то время, когда застаёт его наше повествование, ему было двадцать семь лет. Это был человек полный сил, роста выше среднего, с тонкими чертами лица, с черными волосами синеватого отлива, с блестящими глазами и матовым цветом кожи. Был у него один недостаток – чувственные губы, но они маскировались густыми усами. Был он строен и породист, руки и ноги имел маленькие, как у женщины. В нем не было ничего вульгарного. Натура его была чисто художественная. Он обладал богатым воображением, был хорошим рассказчиком и мог нравиться, если этого хотел.

Наряду с этим это был человек вспыльчивый, страстный и смелый, любивший сильные ощущения. Офицером он участвовал в дуэлях; они, к счастью, оканчивались благополучно. В отряднинских лесах он ходил один на один на медведя с большим риском. Сухоруков любил разгул, смеялся над добродетелью и попами. В его мирозерцании укладывались странные противоречия. На Сухорукова влиял его отец, Алексей Петрович, большой, как тогда говорили, вольтерриа-

нец, и Василий Алексеевич был атеист; он отвергал Бога, но верил в привороты, верил в «особую силу».

Вера эта к нему пришла при совершенно особых обстоятельствах.

Его любовница из крепостных, жизнерадостная Машура, умевшая веселить сердце своего барина, красивая и беззаботная, вся насыщенная ядом чувственности, стала вдруг худеть и меняться в лице. Она занемогла «порчею». Ей по ночам снилось, что к ней ходит пугать ее и мучить страшный человек, лицо которого она не могла разглядеть. Оно было затянуто чем-то черным; видны были только глаза этого ночного посетителя, горевшие, как уголья; они жгли ее и пугали.

От этого кошмара она ночью стонала и просыпалась с криком. Сны стали повторяться почти каждую ночь. Машуре становилось неважно. Пришло дело к тому, что Машура начала просить Василия Алексеевича отпустить ее на побывку в один скит к живущим там «божьим людям». До Машуры доходили заманчивые известия об этой сектантской обители, находящейся в глухих чернолуцких лесах, верстах в двухстах от Отрадного. Там поселилась крестная мать Машуры, Таиса, которая настойчиво звала к себе крестную дочь погостить. Вот в этот скит и начала Машура проситься у своего барина. «Надо покаяться, – говорила она. – Надо замолить грех свой, а то я совсем пропаду... Вам же от того хуже будет, барин мой милый... Ведь другой такой, как я, ты не найдешь. Сам жалеть будешь».

Сухорукову не хотелось с ней расставаться, «Отойдет... Пустяки! – утешал он Машуру. – Мы и без скитов тебя вылечим. Позову Никитку, он тебя и отчитает».

– Не хочу я, барин, вашего Никитку, – говорила Машура. – Отпусти ты меня, ради Христа...

Сухоруков упирался, обещал подумать.

Никитка, о котором шла речь, был странник, навещавший нередко Отрадное, ибо получал там за свои любопытные разговоры и причитания мзду от господ. Он странствовал и жил, выражаясь старинным языком наших летописей, «посреди градов и сел в образе отшельника, волосат и в монашеской свитце и был бос». Однако, несмотря на это, местное духовенство его не любило, говоря про него, что он это творит «не для Господа, и не в Господе, а тщеславия ради да прославиться в народе, яко святой».

Никитка не был еще стар; было ему немного более сорока лет. Он был худ телом; глаза черные, бегающие; борода маленькая, а волосы на голове густые и всклокоченные. Ходил он и зиму, и лето без шапки; носил толстую, как говорили тогда, «пасконную» рубаху, подпоясанную веревкой. Волосатая грудь его была обнажена, и был он очень грязен. Зимой он одевался в старую монашескую свиту, которой покрывался на ночь, когда ложился спать.

Характера он был неровного. То бранился, как разнузданный мужик, то пел псалмы и возводил очи к небесам. О себе он был высокого мнения. «Бога видел, Бога самого видел, –



говорил он про себя, – Христа за ручку держал, ножки у него целовал».

Водки Никитка не пил, но любил полакомиться вкусной пищей. Любил также бабьи хороводы, и было иной раз удивительно для местных жителей видеть его в бабьем кругу приплясывающим под их песни. Деньги, что он получал от дателей, раздавал кому вздумается, но предпочитал дарить бабам, которые были покрасивее. Плотскому греху он не предавался. «Чист, чист, – говорил, – красоты мне надо ангельской; улыбнись, милая, а тело твое для меня – что пина».

Впрочем, про него говорили, что у него был какой-то физический недостаток.

Этот Никитка пользовался в округе авторитетом как бы святого человека. Шла молва, что он творит чудеса, излечивает от болезней, указывает, куда делась украденная вещь. Благодаря его таинственным сведениям господам Сухоруковым однажды удалось разыскать уведенного у них рысистого коня, оказавшегося за сто верст в соседней губернии. Многие из мужиков побаивались Никитку, побаивались его черного глаза.

Несмотря на протесты Машуры, не желавшей Никитки, Сухоруков решил все-таки воспользоваться его помощью, так как вычитал в одном французском журнале об опытах знаменитого француза Месмера, излечивавшего особенным образом своих больных. «Наш доморощенный Никитка сто-

ит этого француза, – думалось ему. – В нем что-то есть... недаром про него народ болтает, об его заговорах и исцелениях... И лошадь мы тогда преудивительно нашли».

По приказанию Василия Алексеевича Никитку разыскали и представили пред барином.

Обласкав Никитку, Сухоруков повел его в свой кабинет. Ему хотелось поговорить с ним без посторонних – дело было секретное.

Войдя в комнату вместе с барином, который уселся в вольтеровском кресле, Никитка прежде всего отыскал глазами образ, висевший в переднем углу, стал пред образом в торжественной позе, несколько раз перекрестился широким взмахом правой руки и поклонился иконе «истовым» поклоном, стукнув лбом об пол. Операцию эту Никитка проделал три раза.

«Мир вам и мы к вам, – забормотал он скороговоркой, – всех чертей тебе, коли нужно, разгоню... Эка табачище-то у тебя какой крепкий», – сказал он, глядя на Сухорукова, который успел раскурить трубку. «Ну и навешано у тебя тут! – продолжал Никитка, оглядывая стены и указывая на висящее оружие, – эка инструмента-то!..» Сухоруков с благосклонной улыбкой смотрел на странного гостя.

– А ты прикажи мне угощение дать, – заговорил опять Никитка. – Севрюжки желаю... Монашеской рыбки... Я тебе акафист прочитаю коротенький, о древе требла– женном расскажу. Это очень пользительно. Об чувствах челове-

ских... И насчет баб указание тебе дам, – сказал Никитка многозначительно и уперся своими черненькими глазками в барина.

– Вот насчет бабы-то мне и нужно с тобой поговорить, – отвечал Сухоруков.

– Ослабла твоя-то? – нащупывал Никитка.

– Не ослабла, а заболела... И болезнь особенная; говорит, что ее злые люди испортили с зависти... По ночам кричит, мечется. Сны ей дурные снятся... Хочет в монастырь бежать...

– Жалко?

– Привык я к ней, – сказал Сухоруков. – Впрочем, что там об этом... Вот кабы ее нам вылечить, – переменял он разговор. – Можешь?..

– Нужно повидать, миленький.

– Повидать-то, повидать... это хорошо, да боится она тебя... А надо бы вас вместе свести. Коли ты берешься ее вылечить и вылечишь – ничего не пожалею.

Никитка задумался. Прошло несколько секунд молчания.

– Ишь ты! боится... – заговорил Никитка. – С чего это ей? Знаю я ее, твою Машуру, видал в хороводах... Ядреная. Ты вот что, миленький, – объявил он наконец, – ты ночью меня к ней приведи, когда она спать будет... Тут я ее и отчитаю...

Сухоруков изъявил согласие. Порешили ехать завтра в полночь на лесной хутор за десять верст, где жила Машура полной хозяйкой со своей матерью Евфросиньей.

Перед этой поездкой Сухоруков надумал вызвать к себе Евфросинью, предупредить ее о своем посещении и строго наказать, чтобы Машура никоим образом об этом не знала; никак ее ночью не будить, даже собак увести со двора подалее, а то они, пожалуй, разлаются, когда приедут ночные гости, и потревожат Машуру своим лаем.

### III

Была уже полночь, когда молодой Сухоруков на длинных беговых дрожках, сам правя лошадей, подъезжал к хутору Машуры. Дорога, по которой он ехал, шла извилинами через большой отраднинский лес. Сзади Сухорукова на дрожках примостился странник Никитка. Хотя Сухоруков хорошо знал любимую дорогу, но он все-таки в эту ночь пробирался тихо, легким шагом, ибо в лесу было темно. Наконец, после часа такого путешествия мелькнул за деревьями огонек. Это Евфросинья стояла на крыльце с фонарем. Она поджидала барина, прислушиваясь и всматриваясь в темноту.

Еще несколько минут, и дрожки с седоками вынырнули из ночной темноты в полосу света от фонаря. Гости подкатили к крыльцу. За дрожками показалась фигура верхового, который сейчас же спешился и принял господскую лошадь. Все это делалось в полном молчании. Сухоруков и Никитка взошли на крыльцо.

– Спит? – спросил Сухоруков.

– Заснула, кормилец, – заговорила Евфросинья с низкими поклонами. – Только все-таки тревожна очень. Сейчас кричала... На постели вся разметалась... Зазорно ее, – добавила Евфросинья шепотом, – такую-то старцу показывать...

– Ничего, ничего... Он у нас свой, – сказал Сухоруков.

– Пожалуй, отец, не обессудь, – обратилась Евфросинья к Никитке, провожая приехавших в чистую светелку, предназначенную для гостей.

– Веди, веди... Не робей Никитки... Никитка слова заговорные знает... Никитка праведен есть, – забормотал странник.

Евфросинья ввела гостей в светелку. Было в ней чисто и уютно. На столе, покрытом белой скатертью, горели две свечи в старинных бронзовых подсвечниках. Стены были бревенчатые, гладко обструганные. Пахло сосновой смолой. На окнах висели чистенькие кисейные занавески; по стенам стояли простенькие стульца. Стоял тут еще старый комод с медными украшениями да стеклянный шкафчик с блестящей в нем вычурной фарфоровой посудой.

Тихо и осторожно отворила Евфросинья дверь из светелки в опочивальню. Она была слабо освещена. В углу комнаты горела лампада перед иконой в серебряной ризе. На цыпочках, крадучись, вошли в спальню Сухоруков и Никитка.

Там, в глубине, на широкой кровати, лежала Машура, освещенная мерцающим светом лампы. Одеяло упало на пол. Она лежала ничем не покрытая. Густая черная коса ее

разметалась по подушке, оттеняя белизну лица. Дыхание было тревожное; она тихо стонала.

– Ох, хороша! – прошептал Никитка. – Надо беспрерывно вылечить.

Сухоруков молчал и ждал, что будет дальше. Никитка подошел ближе к кровати.

– Молю Богу моему, – заговорил он негромко, – да снизойдет здесь благодать... Бог сделает то, что Никитка хочет...

Машура застонала еще сильнее. Сдавленный крик хотел вырваться из ее груди.

Тогда Никитка распростер над Машурой свою правую руку. Точно он хотел через пальцы этой руки перелить свою волю в Машуру. Он тихо продолжал что-то шептать.

Так прошло несколько секунд.

Вдруг Никитка решительно и смело положил широкую темную ладонь на грудь Машуры.

Машура открыла глаза. Лицо ее покрылось ужасом.

– Спи, милая, – твердо сказал Никитка. Он не отрывал от нее своей руки и своих глаз. – Спи, приказываю тебе, – повелительно продолжал странник.

Машура закрыла глаза. Лицо начинало принимать спокойное выражение; стонов не было.

– Ну вот, и уснула, и стала тиха, – сказал Никитка Сухорукову, отнимая свою руку от больной и отступая от кровати. – Вот и благодать подействовала, и не стонет... И сама, гляди,

как ангел, лежит, вся белая, только крыльев у нее нетути...

Сухоруков был поражен мощью Никитки. Он начинал в него верить.

– А эна что?! Смотри, видишь! – прервал вдруг молчание Никитка, указывая на изразцовую печь, расположенную в другом углу комнаты, освещаемую вспыхивающей лампадой, – видишь, он лезет... Видишь, – сказал вдруг, обернувшись резко к кровати Никитка, – перепрыгнул прямо к ней... На шею сел... Ах, ты, поганец! Сгинь, сгинь, – приказывал Никитка. – Ага, наша берет! – радостно забормотал странник, – сваливается... И видишь, видишь? – метнул Никитка глазами к печке, – упрыгнул... В пол уходит, а хвост у него длинный-предлинный, – говорил странник, указывая на щель в полу. – И хвост ушел... Неважный совсем черт... Боится моей силы, – успокоенно объявил Никитка, – бывают много хуже...

Сухорукова охватило неприятное чувство. Мерцающая лампада давала странные очертания некоторым предметам комнаты.

– Пойдем, – сказал он Никитке, – ведь заснула?

– Нет, миленький, надо кончить. Надо молитву сотворить.

Никитка стал в молитвенную позу; он начал свои торжественные поклоны перед иконой, размахивая правой рукой, творя крестное знамение и бормоча молитву. Длилось это несколько минут. Наконец он опять подошел к спящей и положил на нее руку.

– Спи, милая, до самого солнышка спи, – властно приказывал он. – Спи, пока пастухи не заиграют... И от сегодняшнего дня завсегда спать тебе тихо и без снов, слышишь?.. Это приказываю тебе я, Никита-чудотворец, – сказал он торжественно.

В комнате было тихо. Машура спала, дыша ровно и спокойно. Странник снял с нее свою руку.

– Ну вот, дело и сделано, – обратился Никитка к барину. – Сего злого беса я благодатью живущего во мне духа изгнал. Отныне она будет спать хорошо.

И действительно, после этого их посещения хутора порча с Машуры была снята. Машура вылечилась от страшных своих снов; она опять сделалась забавной барской любовницей.

Никитка сделал свое дело. Сухоруков после описанной нами ночи уверовал в заговоры и особую силу. Этот скептик, не веривший в Бога, уверовал в чудеса Никитки.

## IV

Мы уже упоминали выше, что к началу нашего рассказа сухоруковскому состоянию грозила гибель, что для спасения Отрадного явилась необходимость раздобыть, во что бы то ни стало, десять тысяч рублей ассигнациями, что у старика Сухорукова надежд на частные займы не было, что все источники законные и незаконные были исчерпаны.



В эту критическую пору, когда надо было спасти положение, у Алексея Петровича Сухорукова сложилось отчаянное решение раздобыть эти деньги способом крайне рискованным.

Верстах в сорока от Отрадного проживала в своей усадьбе старуха-помещица по фамилии Незванова. Эта была одинокая женщина, достаточно обеспеченная, но большая оригиналка по образу жизни. Жила она скупно, вроде гоголевского Плюшкина, но иногда позволяла себе необычайные траты. То вдруг вздумает полюбившихся ей девок из своей деревни или из ближайшего большого села награждать приданным перед замужеством, то начнет выкупать от рекрутчины крестьян, попадавших в солдаты из числа женатых. Порывы к такой благотворительности у нее проявлялись не часто и как-то стихийно. На нее это находило полосами. Мужики Незванову любили. «Наша Незваниха разгулялась», – говорили они про нее в этих случаях. Была эта помещица очень благочестива.

В округе шла молва, что у Незвановой имеются немалые денежки, что у старухи накопилась порядочная сумма, которую она бережет в своих сундуках. В те времена ни банков, ни сберегательных касс не было. Денежным людям приходилось прятать сбережения дома, скрывая по возможности свои средства.

У Сухорукова-отца зародилась дерзкая мысль относительно этой старухи, мысль совсем даже невероятная для его

положения большого барина, каким он себя прославил в губернии. У него зародилась мысль отобрать деньги у помещицы Незвановой, у этой ханжи и святоши, как он себе ее представлял. С Незвановой он знаком не был, но до него доходили разные сведения. Сухоруков решил поручить это дело своему сыну. «Пускай и он постарается, – думалось ему. – Ведь обоим нам выкручиваться». Для осуществления предприятия отец снабдил сына советами и средствами. Сделать это можно тонко и осторожно. Сын может для этого наладить людей из наиболее смелых и рабски преданных крепостных. Старуха Незванова живет сравнительно неблизко от Сухоруковых. Никому в голову не придет на них, Сухоруковых, подумать, когда затеянное будет исполнено.

Василий Алексеевич знал от отца, что дела их последнее время пошатнулись, что им может угрожать катастрофа. Однако он верил в отца, верил в его умение выходить из трудных положений. Это отцовское умение проявлялось раньше в остроумных комбинациях, которые старику удавалось осуществлять. Но Василий Алексеевич никак не предполагал, что отрадинские дела стали уж так плохи что придется прибегать к отчаянным средствам. К тому же молодой Сухоруков не был еще в такой степени испорчен нравственно, как отец. Ничего подобного ему в голову и прийти не могло. Его грешному образу жизни был все-таки еще положен известный предел.

Но вот однажды старик Сухоруков позвал к себе сына и

открыл ему свои намерения. В первую минуту сын совсем было опешил. Он молчал и большими глазами смотрел на отца.

– Что ты так смотришь на меня, Василий? – сказал старик. – Что тебя так удивляет? Нужда, любезный друг, заставит калачи есть... И не то еще бывает... Ведь как тебе известно, есть два сорта людей. Есть люди умные и решительные, есть дураки и трусливые душонки. Бывают и гениальные люди, как наш гость недавний Наполеон, который, когда ему везло, преспокойно завладевал тем, что хотел взять. Мы с тобой, конечно, не Наполеоны... Куда нам в гении, но дураками тоже не будем. Не ложиться же нам под обух... А этой Незвановой деньги и не нужны. Она по глупости и скупости своей их копит. Проживет прекрасно и без денег. У нее недурная деревенька. Таких глупых баб, как эта старуха, и поучить не бесполезно; не бесполезно для них же самих...

Василий Алексеевич не сразу пришел в себя от речи отца и сделанных предложений. Он просил отца подождать с окончательным решением. Он обещал дать ответ через два – три дня.

Здесь следует сказать, что, хотя влияние Алексея Петровича на сына было очень велико, Василию Алексеевичу было все-таки жутко очертя голову броситься в задуманное дело. Надо было собрать сведения, рассчитать шансы на успех. Надо было, наконец, проникнуться прочно доводами отца. Правда, положение было, как выяснил отец, отчаянное,

но у Василия было другое препятствие: у него не заглохла еще внутренняя совесть. Подсознательная сфера предъявляла свои права. Бывали, хотя и редко, у молодого Сухорукова такие настроения, когда он вспоминал свою умершую мать – этот свет его души, свет, который в редкие минуты вспыхивал у него непроизвольно.

Но теперь, после разговора с отцом и некоторой внутренней борьбы, у Василия Алексеевича совесть стала отходить на второй план. Он был тогда далек от воспоминаний о матери. Мысль его окунулась в другую область.

Ему пришло в голову посоветоваться со странником Никиткой относительно затеваемого предприятия. После излечения Машуры Василий Алексеевич уверовал в ум Никитки и его особую силу. Молодому Сухорукову казалось, что Никитка ему предан. Да наконец, думалось ему, если бы когда-нибудь Никитка и встал во враждебное отношение, то он в таком случае не мог бы ему навредить. Сухоруков не боялся открыться Никитке, считая положение этого юродивого совсем ничтожным. Да оно и было таковым в действительности в те времена крепостничества и самоуправства господ.

Кстати случилось так, что за Никиткой и посылать было не надо; не надо было его разыскивать. За последние дни Никитка поселился на хуторе Машуры рядом с ее домом в маленькой сторожке. Устроила Никитку в сторожке Евфросинья; она чувствовала уважение к страннику. О, на жалела «старца» – так она его называла, почитая за святого. Ев-

Фросинья уговорила Никитку хоть немного погостить на хуторе. Но «старец» неохотно примирялся с оседлым образом жизни. Он ежедневно исчезал с хутора, бегая по ближайшим деревням и по ярмаркам. Возвращался он к ночи, да и то не каждый день. Евфросинья старалась, чем могла, его приманить. Никитка любил, как он сам признавался, монашескую икорку, рыбку, любил медком полакомиться. Все это в изобилии приносилось в сторожку. Сторожка была вычищена для Никитки, лавки вымыты. По стенам были расклеены лубочные картины поучительного содержания: о праведном житии или с устрашающими изображениями демонской силы, а также страшного суда с красным огнем и большим зеленым змием, поглощающим души грешников. В углу сторожки был поставлен аналой перед старинной деревянной иконой.

На аналое лежали восковые свечи. Все это было припасено для Никитки, который любил, как он говорил, предаваться по ночам «молитвенному деланию».

После беседы с отцом Василий Алексеевич ночевал у Машуры. От Машуры он зашел к Никитке в сторожку. Странник его встретил с великой радостью.

– Се припаду ниц к господину моему, – сказал он, отвешивая Василию Алексеевичу поясной поклон, касаясь рукой до земли.

– Не надо твоих поклонов, – сказал Василий Алексеевич. – Сиди смирно. Чего там раскланялся... Я не поп.

– Молю о тебе Господа Бога моего и денно и ношно, – продолжал тем же тоном Никитка, – ибо ежедневно мне от твоих милостей приношение, и самоварчик утречком несут, и угощение разное.

– Ну и отлично, коли нравится. Живи да поживай, – сказал Сухоруков, садясь на лавку.

– Ох, недолго сие будет, – отвечал со вздохом странник, – скоро мне в дальний путь, ваше сиятельство.

– Куда? – удивленно спросил Сухоруков.

– В Киев, родненький, в святые места... Душу томить вознестися горе... к угодникам божиим...

– Однако с чего ты это вздумал? Когда ты едешь? – допрашивал Сухоруков.

– Не еду, а шествую по образу хождения пешего, и будет сие во вторник на той неделе.

Сухоруков умолк. Прошло несколько секунд молчания.

– Вы, ваше сиятельство, насчет Машуры не сумлевайтесь, – осклабился вдруг Никитка. – Здесь я теперь, значит, не нужен. Она сейчас хорошо налажена...

– Не то, Никитка, не то говоришь, – резко сказал Сухоруков. – Не в Машуре дело... Другое тут есть, – начал Василий Алексеевич. – Ты знаешь ли старуху Незванову... Помещицу... Поблизости, в Чермошнах?

– Как не знать, – отвечал Никитка.

– Наверное, у нее бывал? Расскажи, как она живет. Мне хочется знать.

– Как живет? Да живет, мошну набивает, на сундуке сидит... Старухи тоже у нее разные... Ей все причитают: благодетельница ты наша, благодетельница, а за спиной у нее воруют, и староста ворует, а мужики пьянствуют. Меня не взлюбила, старосте велела прогнать; чуть собаками, окаянные, не затравили. Закричала на меня – пустосвят ты! А сама праведницу из себя строит. Тоже в церкву любит ходить... Свечи ставит... Ризы жертвует... По пяточку нищим подает... Дура!..

– А живет-то она как?.. С опаской?..

– Не знаю, ваше сиятельство, какие у нее там порядки. Я у нее всего один раз и был. Не взлюбила она меня... Да ты, сиятельство, что такое затеял? – сказал вдруг Никитка. Он воззрился своими черненькими глазками на Сухорукова.

Сухоруков был не из робких. Прямота Никитки ему понравилась.

– Хочу с тобой посоветоваться. Ты ведь «старец», – сыронизировал Василий Алексеевич. – Хочу у старухи Незвановой денег занять.

– Дело мудреное, – сказал Никитка, пытливо смотря на барина. – Как у нее займешь? Какими молитвами подъедешь?

– В этом ты можешь мне пособить, – возразил Сухоруков. – Ведь наладил же ты тогда мою Машуру. Наладь и старуху: пускай она этот свой сундук мне отопрет... Мы тогда и возьмем, что надо.

Прошло несколько секунд молчания. Сухоруков внима-

тельно смотрел на Никитку.

– Ишь, чего затеял! – тихо сказал Никитка.

– Деньги нужны, и деньги большие... – многозначительно и с расстановкой проговорил Сухоруков.

– Я тут ничего не могу, – объявил Никитка, почесывая затылок. – А вот человечка тебе в услужение для этого дела я укажу.

– Не можешь?! Почему не можешь? – допытывался Сухоруков.

– Сила в ней есть, в этой старухе, – заговорил странник. – Ее не переломишь... Я уже пробовал, не дается. Главное, к себе не подпускает... Только бы к ней подойти, тогда навалился бы... Да это все едино. Говорю тебе верно – я тебе хорошего человечка дам, – утверждал Никитка.

– Какого человечка? Ты не путаешь ли, любезный...

– Ничего не путаю, – отвечал Никитка. – Самый настоящий для этого дела человек. И у нее, значит, бывал; все ее повадки знает. Знает, где что лежит. Все тебе укажет и сон на нее наведет... Такой сон наведет, – продолжал многозначительно и с большим убеждением странник, – что ничего старуха не услышит. Приходи и бери, что нужно...

– Где же живет этот приятель твой? – заинтересовался Василий Алексеевич.

– И живет он от нее близко; всего в двух верстах на пасеке в лесу. Сам он пчелинец. И сила у него по заговору большая. Только вот насчет молитвы он плох; этого не может. Во



святых ему не быть... – пояснил Никитка. – Не старец он а, значит, колдун... Креста боится...

– А ты креста не боишься? – спросил Сухоруков.

– Мне чего креста бояться. Наша жизнь праведная, – с гордостью сказал странник.

– Как зовут этого твоего колдуна?

– Зовут Батогиным, Иваном Батогиным. Он – казенный мужик, вольный. И живет он на опушке леса у самой дороги, – Странник стал подробно объяснять Сухорукову, как найти Батогина. – Да что там толковать, – закончил он свою речь, – я уж, куда ни шло, сам пособлю тебе. Вот сейчас, ваше сиятельство, в дорогу к нему и снаряжусь. К ночи туда доберусь. Его налажу... Объясню ему, что ты к нему приедешь... Когда ждать-то прикажешь?

– Как у тебя все скоро идет, – улыбнулся Сухоруков. – Ты лучше другое мне скажи – скажи, верный ли он человек? Стоит ли с ним связываться? – с сомнением в голосе проговорил Василий Алексеевич.

– Я тебе говорю, что будет для тебя верный, – убеждал Никитка. – Уж я его налажу. Ты мне верь. Как перед Христом говорю.

Сухоруков стал раздумывать. Убеждения Никитки на него подействовали.

– Что же, – сказал он наконец, – скажи, пожалуй, твоему этому колдуну, что завтра у него буду вечером, а там видно будет.

Сухоруков встал, потянулся и взял шапку. – Ну, Никитка, прощай... уезжать нужно, – объявил он.

Уходя, Сухоруков обратил внимание на аналой со свечами, стоявший в углу сторожки.

– Это что же у тебя, для молитв твоих пристроено? Спаеешься, старец? – спросил он с иронией.

– О вас, благодетелях моих, денно и ночью молю Бога моего, – отвечал Никитка тем же елейным тоном, как и при встрече барина.

Сухоруков направился к двери, провожаемый низкими поклонами, вышел на крылечко. Стремянный поджидал барина с оседланной лошастью. Сухоруков легко вскочил на подведенного коня и благосклонно кивнул Никитке.

Улыбнулся он и Машуре, проезжая мимо ее домика.

Машура смотрела из оконца на своего повелителя. Она выглядывала из-за кисейной занавески, приподняв к глазам белую красивую руку, чтобы защититься от сверкающего солнца.

Она следила, как Сухоруков вышел от Никитки, как сел на коня, как, тихо проехав мимо ее окна, взглянул на нее с самодовольной приветливой улыбкой... как он после того быстро исчез за лесной чащей, сопровождаемый своим стремянным.

## VI

Василию Алексеевичу надо было не медлить ответом отцу относительно предстоящего «сумасшедшего действия». Таким выражением Василий Алексеевич окрестил все это предприятие, затеянное отцом. С решением надо было спешить, потому что положение отрадинского имения было действительно критическое. После описанного разговора с сыном отец уже на другой день несколько раз посылал за ним на его половину, но того не было дома. У старика, что называется, загорелось. Он чувствовал, что срок последнего платежа подходит, что дни сочтены.

И вот, в тот же день, когда Василий Алексеевич имел описанный нами разговор со странником, он, обдумав наскоро предприятие, объявил вечером отцу, что согласен решиться, что отважится на рискованное дело. Он передал отцу, какой у него сложился план будущих действий. Завтра он с доезжачим Павлом Маскаевым, человеком самым отчаянным из всей господской дворни, отправится вечером на верховых лошадях к колдуну Батогину за сорок верст на его хутор, что в двух верстах от Незвановой. Доезжачий Маскаев был выбран Сухоруковым как верный слуга и еще потому, что раньше бывал в усадьбе старухи. У него там когда-то жила родственница. Этот Маскаев знал расположение усадьбы, знал даже расположение некоторых комнат в барском доме. При-

быв к ночи с Маскаевым на хутор колдуна, Сухоруков постарается получить от колдуна точные сведения относительно старухи. Если все сложится удачно, то Сухоруков тут же снарядит за деньгами доезжачего Павла. Сам же будет ожидать возвращения Павла с добычей в батогинской избе.

Сложился у Василия Алексеевича такой план, потому что он верил Никитке, верил в его рекомендацию колдуна, верил в особую силу, которую может проявить колдун. Он надеялся, что колдун может навести на старуху крепкий сон, надеялся, что все обойдется благополучно.

Предполагалось далее, что Сухоруков с Павлом вернутся домой к свету, когда дома все будут еще спать.

Для поездки решено было выбрать из конюшни двух самых выносливых лошадей, которые легко бы сделали с небольшой передышкой восемьдесят верст туда и обратно.

План этот был, конечно, отчаянный, но и положение в Отрадном было отчаянное. Надо было действовать. Отец одобрил план. На том и порешили.

## VII

На следующий день около девяти часов вечера Василий Алексеевич с доезжачим Павлом Маскаевым приехали верхами к Ивану Батогину на его хутор. Еще в Отрадном, перед отправлением, Сухоруков посвятил Маскаева в цель поездки и в то, что он, Маскаев, должен исполнить. Василий Алексе-

евич обещал Маскаеву, если все удастся, дать вольную, т. е. предоставить ему то величайшее благо, о коем могли мечтать в то время крепостные. Маскаев поклялся барину, что готов для него в огонь и в воду.

Иван Батогин, к которому приехали ночные гости, был рыжий мужик лет около пятидесяти, плечистый, с крупной головой, ушедшей в крупные плечи. Смотрел он больше исподлобья. Взгляд его был суровый и тяжелый. Жил он на хуторе у самой опушки казенного леса со своим сыном Митькой, малым невзрачным, глухонемым от рождения.

Уже порядочно стемнело, когда Сухоруков с Маскаевым подъехали к хутору колдуна. Большая цепная собака, привязанная у самого крыльца батогинской избы, встретила гостей отчаянным хриплым лаем. Она бросалась во все стороны, как бешеная, вспрыгивала, становилась на задние лапы, удерживаемая цепью, опрокидывавшей ее назад. На крыльце показался колдун.

– Это ты Батогин? – спросил Сухоруков.

– Я самый и есть, – отвечал колдун.

– Странник Никитка здесь? Я его не вижу.

– На ярмарку ушел, в Кирики. Там нынче праздник.

– Ну, шут с ним, – сказал Сухоруков. – На ярмарку, так на ярмарку.

Он слез с лошади и передал ее доезжачему.

– Ты вот что, любезный, – обратился он к колдуну, – отвори-ка ворота. Мой человек лошадей на место у тебя поста-

вит. Корму им дай.

– Дадим, дадим, – ответил Батогин. – Сами-то вы, барин, в горницу пожалуйте.

– Прежде чем в избу звать, собаку от крыльца отведи. Видишь, бросается.

Колдун цыкнул на собаку и оттянул ее от крыльца.

– Пожалуйте, барин. Я вас с самого вечера жду, – продолжал колдун нежным тоном, который так не шел к его угрюмой фигуре. – Сейчас к вам приду.

– Маскаев! – крикнул Сухоруков доезжачему. – Ты пока побудешь с лошадьми. Я тебя позову.

Сухоруков вошел в избу. Осмотревшись, он сел на лавку. Изба освещалась лучиной, воткнутой в рогульку, укрепленную на печке. Лучина горела, мерцая, и трещала, давая копоть. В избе было неприветливо и пусто. Стены были закопчены, и кроме длинных лавок, небольшого стола в углу, да неуклюжей печи рядом с входной дверью, ничего не было.

Немного погодя вошел в избу и колдун. Он плотно притворил за собой дверь.

– С самого вечера вас, барин, ждал, – заговорил Батогин тем же сладким, мягким тоном, что и при встрече. – Уж это Никитка за вас больно просил. Что ж! Мы, значит, постараемся...

– Постарайся – награждение получишь, – благосклонно произнес Василий Алексеевич. – Сухоруковы мужиков не обманывают.

– Денег мы не берем, – угрюмо отрезал колдун. Сухоруков с удивлением посмотрел на колдуна.

– Денег мы не берем, барин, – продолжал колдун. – Мы, значит, из чести... И, окромя того, я на нее зол... Она про меня дурную молву распускает. Посмотрю теперь, как она завертится, когда деньги у нее вынут.

– Это хорошо, Батогин. Ты мне нравишься.

– А кто у вас к ней... забираться будет? – спросил вдруг колдун. – Кто деньги-то будет красть? – приступил он к делу довольно бесцеремонно. – Вы сами или этот, что ли, что с вами приехал?

Сухорукова покорило, но он сдержался и ответил:

– Думаю доезжачему поручить. Маскаев здешние места знает. В ее усадьбе бывал и малый лихой.

– Пособим, пособим, – сочувственно продолжал колдун. – Очень даже хочу вам, барин, пособить. И знаем мы хорошо, где деньги у нее лежат. Лежат они в спальней, в киоте за образами. Там у нее железная небольшая шкатунка спрятана... устюжской работы... Замок у шкатунки со звоном... В ней и ассигнации и деньги... Прямо бери ее целиком, и ломать не надо... И окошко в спальней от земли не высоко... в сад выходит. И собак в саду нет. Надо, значит, забраться от реки прямо в сад...

– Спит-то она одна? – решился, наконец, спросить Сухоруков.

– Одна спит, – отвечал колдун, махнув рукой. – Правда,

старухи там у нее две рядом в комнате, да они не услышат...

– Это все хорошо... А вот что ты мне скажи, – многозначительно проговорил Василий Алексеевич, – ты на нее сон крепкий отсюда навести можешь?

Батогин молчал.

– Ты мне серьезно ответь, – продолжал Василий Алексеевич. – Я буду с тобой откровенен... Ведь, сам понимаешь, риск тут большой. Не хочу я доезжачего подводить, да и для себя зазорно в уголовное дело вляпаться.

– Коли он пособит, тогда все можно, – отвечал твердо Батогин. – Могу тогда и сон на нее навести...

– Кто это он, пособит?

– Недогадливый ты, барин, – мрачно сказал Батогин. – Если хочешь назову: диавол.

– Что же... ты с ним разговоры поведешь? – допытывался Сухоруков.

– Вместе поведем эти разговоры; с тобой вместе... в компании, значит, – сказал Батогин, – пойдем вместе ведовать.

– Это что же будет?

– Там в лесу у меня место такое есть... Я сейчас сына пошлю костер развести. Там и увидишь, что будет.

– Маскаева брат? – спросил после раздумья Сухоруков.

– Нет, пушай выпится около лошадей... Ему проспаться надо, коли решил ты его к ней снаряжать... Вот что, барин, я пойду сейчас к лошадям; ему заодно все скажу, как и что надо делать... А когда ему идти, вы уж, значит, сами его по-



зовете и ему прикажете...

Сухоруков кивнул головой в знак согласия. Колдун вышел из избы.

Сухоруков понимал все значение согласия, данного колдуну, понимал значение происшедшего с колдуном разговора. Но это не пугало Сухорукова. Он был не из робких. «Решаться так решаться...» – пронеслось в его голове.

Через несколько минут колдун вернулся.

– Объяснил все и уложил Маскаева спать в телегу, – объявил Батогин, – и сына послал в лес костер разводить.

Колдун подошел к столу, за которым сидел Сухоруков. Постояв немного, он сел на лавку рядом с барином.

– Мы с тобой здесь пока, значит, посидим да покалякаем, – сказал он довольно фамильярно. – Уж ты позволь мне посидеть около тебя, уморился я стоять-то...

Сидя на лавке у стола, Батогин поглядывал исподлобья на Сухорукова. Он, по-видимому, не особенно стеснялся своего гостя.

Лучина вспыхивала и освещала скуластое лицо колдуна, обросшее рыжей бородой, с волчьим тяжелым взглядом. Вся эта обстановка общения с колдуном для Василия Алексеевича казалась совсем странной. Этот дерзкий мужик, сидящий рядом с барином, был явлением, по тогдашним временам, необыкновенным.

– Тут еще одна закавыка есть, – прервал наконец молчание колдун. – Крест может вам помешать... Все дело может

испортить...

– Крест! Какой крест? – удивился Сухоруков.

– А который у тебя на шее. Его надо снять! – сказал Батогин. – Крест ты с себя, значит, сними.

Лицо Василия Алексеевича сделалось серьезным.

– Креста я не сниму, – сказал он. – Это благословение моей матери.

– Тогда нечего нам и соваться, – объявил колдун. – Тогда сами, барин, делайте... Дело ваше и ответ ваш. Коли ты в кресте будешь, я ведовать не пойду.

Тяжело было Сухорукову расстаться с заветной вещью, хоть он и смеялся, как он говорил, над всяким таким суеверием. Крест этот был все-таки дорог Василию Алексеевичу. С мыслью о нем соединялось воспоминание о матери. Он вспомнил, как она однажды, обнимая его, еще ребенка, надела на его шею этот крест на золотой цепочке.

– Ну что же, барин, надо решаться, коли удачи хочешь. Чего тянуть-то... – настаивал колдун.

Сухоруков сделал усилие, отстегнул ворот, снял крест на цепочке с шеи и положил его на стол.

– За печку его закинь, – не унимался колдун. – За печку надо его бросить, – пояснил он.

Сухоруков взял со стола крест, подошел к печке и бросил его за трубу.

– Ну вот, теперь ладно! – сказал Батогин. – Теперь можно и в лес.

Колдун снял со стены висевший на гвозде фонарь, вынул из него сальную свечу, зажег ее об лучину и поставил свечу опять в фонарь на свое место. Лучину он погасил.

Они вышли.

## VIII

Летняя ночь пахла своим дыханием на Сухорукова, когда он вместе с колдуном вышел из избы. Царила торжественная тишина. Тишина эта была неожиданно нарушена рычанием собаки, лежавшей под крыльцом, но собака тотчас умолкла, получив окрик от своего хозяина.

Василия Алексеевича всего сразу охватило впечатление от этой торжественной ночной тишины. Его охватило впечатление от чистого, прозрачного небесного свода, распростертого над ним, безмолвно на него смотревшего; от горевшего тысячами звезд бездонного пространства небесного – пространства с мириадами неведомых жизней... Что-то таинственное было во всем этом, что-то бесконечно значительное, проникавшее глубоко в душу... Что это было такое, Василий Алексеевич не понимал. Но то, что он сейчас почувствовал, унесло его далеко от совершившегося в избе.

– Сюда, барин, не споткнись, тут канавка, – говорил колдун, идя впереди Сухорукова и освещая путь фонарем. Они обходили пчелиную пасеку. Колодки пчел вырисовывались в стороне.

Они вошли в лес, скрывший от глаз Сухорукова небесный свод. В лесу было темно, так темно, что без фонаря и сам колдун не пробрался бы по извилистой тропинке.

Не мог отдать себе отчета в своем теперешнем душевном настроении Василий Алексеевич. Ему стало вдруг тяжело.

«Откуда эта тяжесть?» – спрашивал он себя. Ведь вот теперь, решаясь на рискованное дело, которое должно было спасти свободу его и отца, спасти их право удовлетворять своим желанием наслаждаться жизнью, как они хотели, – идя на это дело, он, Сухоруков, привыкший верить в себя, в силу своих решений, в свою удачу, вдруг ощутил какую-то жуть.

И чего ему было бояться? Все, казалось, ладилось... Безумное предприятие обещало осуществиться. Ведь не в таких еще переделках он бывал... Пережил он сколько раз и отчаянный риск бретерства и дуэли... И поединок один на один с медведем. Что же сейчас его томило и мучило? И эта чудная ночь, которая так сразу его охватила, и она куда-то ушла, и на сердце лежит камень, лежит мучительно, и он, Сухоруков, не может с себя его стряхнуть...

«Это крест я с себя снял, – мелькнуло в мозгу Василия Алексеевича, – мать обидел». Но на это сейчас же появилась на лице его насмешливая улыбка. В ответ у него сейчас же блеснула ироническая мысль: «Где это она там? Откуда это видит? Чего я кисну!.. Ведь это же все дурацкие страхи».

Он шел за колдуном, погруженный в свои тревожные думы.

Колдун медленно продвигался вперед по тропинке, минуя разные преграды, которых бывает так много в дремучем лесу. Он освещал фонарем дорожку. От фонаря ложились причудливые тени по ближайшим сучьям деревьев и по кустам. Шаги пешеходов тревожили ночную тишь... Вот они спугнули из мелькнувшего дупла какую-то большую птицу, которая пролетела в сторону, резко захлопав крыльями. Пройдя еще немного, колдун и Сухоруков вошли в сосновый лес с красными стволами, поочередно освещаемыми фонарем. Наконец вдаль за деревьями показался огонек.

– Это Митька костер зажег... – пояснил колдун. Еще несколько минут, и они вышли на небольшую поляну посреди старого хвойного леса, стоящего стеной вокруг. Место было глухое.

На поляне горел небольшой костер. На фоне костра вырисовывалась фигура сидящего у огня сына колдуна. Митька подкладывал в огонь хворост, набранный в лесу.

Колдун и Сухоруков подошли к костру. При свете огня было видно, что здесь место кругом костра было расчищено, что была снята трава – был сделан ток, как это делают мужики на гумнах для молотьбы хлеба.

– Вот, барин, здесь и остановка, здесь и посмотришь, как мы с Митькой колдовать начнем, – сказал Батогин. – Только... чур, не пугаться... робеть нельзя. А Митька у меня малый твердый и все понимает, даром что глухой и немой, – разьяснял колдун. – Митька глаза моего слушается; он чует,

что надо. Вы, баре и офицеры там разные, этого не понимаете... не понимаете, как в молчанку можно разговаривать и приказания давать, а мы знаем, что такое дух, какая в человеке сила...

Митька обернулся лицом к отцу. Лицо Митьки осклабилось улыбкой. Точно он действительно понимал, о чем сейчас говорил отец.

Колдун взял топор, лежавший у костра, направился к лесу и скоро исчез в темноте.

Вся эта необычайная обстановка, в которую попал Сухоруков, эти странные отец и сын, приготавливавшие что-то таинственное и значительное, не могли не поразить воображение Василия Алексеевича. Нервы его были напряжены. Он внимательно вглядывался во все окружающее. Он обратил внимание на то, что около огня, кроме небольшой кучи хвороста, лежала еще другая куча с какой-то не то хвоей, не то травой. Сухоруков недоумевал, зачем это колдун взял топор и ушел.

Через несколько секунд это разъяснилось – колдун вернулся к костру, держа в руках небольшой кол. Он нагнулся у костра и начал топором его обтесывать и заострять.

– Что это у тебя здесь приготовлено? – сказал Сухоруков колдуну, показывая на кучу с травой.

Колдун оторвал голову от работы и, взглянув на Сухорукова, ответил:

– Это, барин, вереск. Разве не знаешь? Не видывал? У нас

в казенном лесу его много. Мы его жечь будем...

Колдун закончил обтесывать и заострять кол, бросил топор на землю. Сухоруков заметил, что лицо колдуна сделалось сосредоточенным и серьезным.

– Ну, барин, я дело начну, – строго объявил Батогин.

Колдун встал в торжественную позу перед костром и что-то забормотал. Он приподнял кол острием вверх над головой и держал его таким образом несколько секунд. Затем он внезапно обвел колом вокруг своей головы, продолжая тихо говорить что-то непонятное. Пробормотав еще немного, он отошел от костра и начал острием кола, нажимая на него во всю силу, очерчивать линию вокруг костра.

Сухоруков с любопытством молча наблюдал за колдуном; он проникался серьезностью того, что делалось. Василий Алексеевич сознавал, что не следует разными вопросами мешать Батогину, не следует выбивать его из его настроения.

Когда колдун очертил на току острием кола большой круг, то, обратившись вдруг к Сухорукову, повелительно ему сказал:

– За круг, барин, не ходи. Там опасно. Стой у костра.

Василий Алексеевич решил во всем повиноваться колдуну и не двигался. Между тем Митька, расположившийся у самого костра, поддерживал огонь, бросая хворост.

Огонь разгорался, охватывая своим прерывистым светом весь ток с резко очерченной линией, охватывая и густую траву за границей тока. Лишь немного дальше свет этот погло-

щался окрестной тьмой, в которой тонула стена деревьев, окружавших поляну.

Колдун приступил к заклинаниям. Он взял небольшую охапку вереска и бросил его в огонь. Вереск затрещал, от него поднялся беловатый дым.

Сухоруков почувствовал одуряющий запах вереска. Колдун стоял у костра в самом чаду... Сначала он бормотал что-то негромко, потом стал издавать глухим голосом какие-то странные завывания. Что это были за звуки, Сухоруков не мог уловить. Это были бессловесные звуки с различными переливами и интонацией без всякого ритма и правильности. Временами это было что-то судорожное, дрожащее, иногда как бы задыхающееся, после чего вырывались даже вскрикивания. Колдун вдруг затрясся. Он побледнел и сделался страшен. Сквозь его вой Сухоруков разобрал прерывающиеся слова:

– Черная власть... Сила дремучая, начинай... Злоба могучая, пособи... Все тебе отдали... Кресте себя снял...

«Опять крест!»... – Сухорукову сделалось больно и жутко на душе.

Колдун повернулся в сторону усадьбы Незвановой. И вот что Сухоруков отчетливо услышал из заклинаний колдуна.

– Вырви ей глаза... Вырви ей сердце. Пусть спит... Без просыпу... Всю эту ночь.

Но тут случилось нечто совсем неожиданное.

Колдун закричал отчаянным голосом, что есть силы. От



его крика эхо отозвалось в лесу. «Вижу ее, – закричал он, – вижу, стоит у киота... молится... крестится!» После этих слов колдун грохнулся всей своей тяжестью около Сухорукова на земляной ток. Словно что-то швырнуло его на землю.

Сухорукову сделалось совсем страшно. Он едва не бросился бежать из круга. Вдруг ему показалось, что кто-то схватил его сзади за плечи. Тут же он почувствовал, что его больно кольнуло в поясницу. Он чуть не вскрикнул.

Поверженный на землю колдун поднял голову, опираясь на руки. Он дико озирался кругом с запекшейся пеной у рта.

– Не могу, барин, – проговорил он наконец с блуждающим взором. – Не могу совсем... Она теперь молится... Сегодня надо бросить... Я весь истратился... Митька, – взглянул он на сына, – проводи барина домой, я потом приду. – Сухоруков тяжело переводил дыхание. Сердце его усиленно билось.

Митька, внимательно вглядываясь в отца, понял его и взялся за фонарь, который лежал тут же.

Сухоруков не мог больше оставаться. Что-то тяжелое давило его плечи, сдавливало сильней и сильней. Он рванулся из круга и пошел быстрыми шагами к лесу. Куда девалось его мужество! Митька кинулся за барином. Они оба исчезли в темноте.

Колдун остался на току один. Он впал в забытие, лежал словно без чувств. Тихо стало кругом.

Костер догорал последним пламенем.

## IX

Сухоруков, так стремительно рванувшийся к лесу по поляне, чуть было не упал, споткнувшись о небольшой пенек. Это заставило его опомниться и прийти несколько в себя. Он остановился. Перед ним стеной стоял темный дремучий лес. Василий Алексеевич не знал, куда идти. Его выручил Митька, который, подбежав к Сухорукову с фонарем, дернул барина за рукав и показал рукой направление. Они нашли тропинку и вошли в лес.

У Сухорукова было одно чувство, одно желание – уйти, скрыться, уехать домой, убежать, куда глаза глядят. Он был разбит нравственно и физически. Правда, физическое чувство боли и сдавленности в плечах, которое он внезапно ощутил после страшного крика колдуна и его падения, теперь прошло. Не было также и боли в пояснице, что так его тогда поразила; но ему все-таки было очень не по себе. Он чувствовал недомогание и не знал, что делать и куда деваться.

Они пришли в избу. Митька зажег лучину и сейчас же ушел. Сухоруков сел на лавку у стола. Он опустил на руки отяжелевшую голову и застыл в этой позе, ничего не видя и не слыша.

То, что совершилось сейчас в лесу, беспорядочно пронеслось в его голове. Роились вопросы один за другим: «Какая

это сила бросила колдуна на землю? Ведь притворства тут не было!.. Что значат эти крики колдуна, что „она молится“, что значат эти болевые прикосновения, которые он внезапно почувствовал?» Сухоруков начинал убеждаться, что действительно ощутил прикосновение какой-то силы. «Это было! Это было!» – говорил он себе.

Василий Алексеевич продолжал сидеть у стола в той же застывшей позе. Страшная усталость и недомогание, которые он чувствовал, брали свое. Лучина понемногу догорала, тихо потрескивая. Наконец она погасла, и в избе воцарился мрак. Сухоруков закрыл глаза... Еще минута, и он забылся в тревожном сне.

Сухоруков увидел сон, который ему остался памятен на всю жизнь.

Он увидел себя сидящим в своем кабинете. Перед ним стоял странник Никитка в почтительной позе и говорил ему: «Нешто забыл слова мои насчет молитвы. Ведь я говорил тебе, что молитвы колдун боится. Так и вышло... И крест снял ты, ваше сиятельство, без всякой пользы... Надо по-новому начинать... Кистенем ее, дуру, кистенем... Зови Маскаева. Он не промахнется... Пойдем во двор».

И вот Сухоруков видит, что они очутились на дворе батогинской избы. Маскаев спит в телеге. Они начинают будить Маскаева.

«Да ведь надо кистень ему дать, – вспоминает Сухоруков. – Кистень у меня на стенке в кабинете висит».

Сон переносит Сухорукова опять в кабинет. Ему чудится, что он ищет на стене между старинным оружием кистень, который третьего дня еще ему принесли мужики из разрытого кургана. Он его тут повесил. «Где же кистень?»

Но здесь случилось нечто страшное даже и для воспоминаний об этом сне.

Оторвавшись от стены, Сухоруков увидел в дверях свою мать.

Она стояла, как живая, – такая ясная, несомненная... и такая строгая. Она смотрела своими темными глазами на сына в упор. Она сделала несколько решительных шагов по направлению к тому месту, где был Василий Алексеевич, и схватила его за руку. Подвела сына к большому зеркалу, висящему в кабинете, и сказала:

– Василий Алексеевич, посмотрите, кто вы!

В зеркале Василий Алексеевич увидал диавола. Сухоруков не сомневался, что это был диавол, ибо он в зеркале увидел искаженное злобой обличие существа не то человеческого, не то звериного. Сухоруков не мог оторвать своего взора от этого страшного образа, на него смотревшего. И вдруг узнал в этом злом, отвратительном лице с искаженной улыбкой самого себя, свои черты. Это был его двойник. Сухоруков вскрикнул. Затем все смешалось.

Он проснулся и открыл глаза.

В избе брезжил свет. Рассветало. Василий Алексеевич поднял голову и провел рукой по лицу. Он окончательно

пришел в себя, и в его душе произошел великий нравственный перелом. Он решил бросить все затеянное дело, хотя бы это грозило ссорой с отцом, хотя бы это грозило потерей положения богатого помещика.

Поднявшись с лавки, он увидел стоявшего в дверях колдуна. Тот, по-видимому, уже успел оправиться от ночной переделки и вернуться из леса.

– Не ладно спишь, барин, – сказал колдун. – Эка раскричался, словно тебя резали.

– Скажи Маскаеву, – объявил в ответ Сухоруков, – чтобы сейчас же седлал лошадей. Мне нужно домой...

Колдун посмотрел с удивлением на Сухорукова и вышел из избы исполнять приказание.

Через несколько минут лошади были подведены к крыльцу.

– Прощай, Батогин, – сказал Сухоруков провожавшему его колдуну и вскочил в седло. – Да, вот что, – объявил он, сидя уже на лошади. – Поищи мой крест у себя за печкой. Чтобы непременно его найти, слышишь! И мне представить в Отрадное.

– Сам поищи, – дерзко отвечал Батогин. – Сам забросил, сам и ищи. Твое дело.

– Коли не найдешь, – пригрозил Сухоруков, – пришло сюда искать моих охотников. Они твою избу по бревнам разнесут.

– Присылай, коли охота. Не боюсь я твоих охотников, –

огрызнулся колдун.

Всадники помчались домой.

## Х

Василий Алексеевич со своим доезжачим вернулся в Отрадное утром, когда солнце уже порядочно поднялось. Старик Сухоруков еще спал. Обыкновенно он вставал в восемь часов. Но в барской усадьбе жизнь уже началась. Дворецкий покрикивал на рабочих, которые мели двор. Садовники возились в цветнике; шла поливка клумб. Из людской, стоявшей в стороне от дома, доносились шутки и смех.

Василия Алексеевича встретил у подъезда его камердинер, старый Захар. Он принял с глубоким поклоном от барина шапку и арапельник и поспешил за барином в спальню, чтобы помочь скорее ему умыться, освежиться и привести себя в порядок после путешествия. Василий Алексеевич знал, что отец, как только встанет, немедленно потребует его к себе, на свою половину.

Здесь надо сказать несколько слов о расположении отрадинского дома.

Дом этот представлял из себя в действительности три отдельных здания. Главное здание, находившееся в середине, где были парадные комнаты и комнаты для гостей, соединялось загибающимися с обеих сторон галереями с двумя большими флигелями. В этих флигелях, составлявших крылья

главного дома, и жили в одном Сухоруков-отец, а в другом – Сухоруков-сын. Господа Сухоруковы сходились в большом доме лишь для обеда и ужина или при приеме гостей. Жизнь каждого из них проводилась отдельно. Отец и сын не мешали друг другу в своих привычках. У каждого был свой штат прислуги.

Сухоруков-сын не любил, чтобы в его флигеле находились женские лица. Своих любовниц, как, например, Машуру, он держал в стороне; он помещал их «на дачах», идеализируя, по возможности, свои отношения к этим существам.

У Сухорукова-отца были заведены другие порядки. Во флигеле у него находился один только слуга, принадлежавший к мужской половине рода человеческого. Это был вертлявый пожилой лакей по имени Егор – «домашний фигаро», как его называл Алексей Петрович. Егор, обученный парикмахерскому искусству в Москве, являлся совершенно необходимым для ежедневного «наведения красоты» на своего барина. Остальная прислуга на половине старика Сухорукова была женская, в числе коей играли роль разные «бержерки» и «психеи», взятые из дворовых девиц и вымуштрованные дебелой Лидией Ивановной, главной начальницей над женским персоналом флигеля.

Приведя себя в порядок, Василий Алексеевич перешел в кабинет. Он ждал посланного от отца и готовился к объяснениям. В кабинете он случайно взглянул на стену со старинным оружием. Кистень, который ему третьего дня принесли

мужики и который он повесил между оружием, висел и теперь на своем месте.

Он остановил свой взор на этом кистене, и вся картина пережитого сна предстала пред ним. Сухоруков содрогнулся, но сейчас же пришел в себя. Решение его бросить затеянное дело было бесповоротно, и это его успокоило.

– Чаю прикажете подать? – сказал вошедший в кабинет Захар. Он остановился в дверях и смотрел на барина совершенно особенным взглядом – взглядом преданной собаки, если можно так выразиться. Это был старинный тип крепостного, истинный раб своего господина, нянчивший когда-то Василия Алексеевича на своих руках.

– Нет, не надо, – отвечал Василий Алексеевич, – я у отца буду пить.

Прошла минута молчания. Захар не двигался с места.

– Что ты так на меня уставился? – сказал наконец Сухоруков старому слуге, не сводившему глаз с барина.

– Здоровы ли вы, сударь? – проговорил Захар.

– Да ничего... – отвечал Василий Алексеевич, – особенного нездоровья не чувствую.

– Что-то бледны вы очень... И под глазками у вас нехорошо. Ох, уж эти бабы!.. Доведут они вас, – проговорил со вздохом старик.

– Это не бабы, – успокоил Захара Сухоруков. – Я просто устал.

Через минуту вошел посланный от старика Сухорукова.



– Пожалуйста к Алексею Петровичу, вас просят, – объявил он.

Василий Алексеевич отправился на половину отца.

Он застал отца в спальней, сидящим у окна в шелковом малиновом шлафроке. Василий Алексеевич нашел его уже надушенным и завитым, с трубкой в зубах и со стаканом чая на маленьком столике. Войдя в спальню, сын поздоровался с отцом. Хорошенькая горничная из числа «бержерок» подала молодому барину чай. Когда она вышла из комнаты и затворила за собой дверь, отец, пытливно взглянув на сына, угрюмо проговорил:

– С чем нас поздравишь, Василий? Ты, кажется, не в духе... И вид у тебя неважный.

Василий Алексеевич уселся против отца. Глаза его выражали решимость.

– Нехорошее дело мы затеяли, – сказал Василий Алексеевич. Он набрал, что говорится, духу, чтобы отговорить отца. – Дело это нужно бросить; оно к добру не приведет, – твердо объявил он после некоторой паузы.

– Не солоно хлебнул? – сказал старик.

– Я видел мать сегодня ночью во сне, – тихо проговорил Василий Алексеевич, – видел ее, какой она всегда была, светлой, лучезарной... но такой строгой, такой величественной, с очами, проникающими до самого сердца...

Старик сделал большие глаза и уставился на сына.

– Я видел мать, – продолжал молодой Сухоруков, все бо-

лее и более воодушевляясь, – видел, как вот тебя сейчас вижу. Она вошла в комнату... Взяла меня за руку и подвела к зеркалу. Она показала мне, чем я стал. Это было что-то ужасное... И вот, одно говорю тебе, отец, – не могу, как хочешь... Не требуй от меня невозможного... И тебе советую бросить это скверное дело. Сухоруковы грабежом и убийством еще не занимались...

Алексей Петрович насупился; в его глазах сверкнул злобный огонек...

– Ты видел твою усопшую мать во сне, – отчеканивая каждое слово, злобно сказал старик, – а я вижу сейчас моего сумасшедшего сына наяву. Что с тобой, любезный дружок Васенька? – заговорил он насмешливо. – Какая это у тебя душевная красота народилась? С каких это пор? В каких ты эмпиреях плаваешь? Ты, видно, забыл, Василий, – с горечью продолжал старик, – что через две недели, если мы не добудем денег, нас отсюда вышвырнут вон, что мы будем нищими, что нам, добродетельным праведникам, господам Сухоруковым, придется идти в нахлебники, в позорную бедность...

– Не забыл я ничего, – отвечал, не смущаясь, Василий Алексеевич. – Все я помню, и понимаю, и сознаю, и все-таки знай, отец, что со своей стороны я все сделаю, чтобы затеянное не совершилось... И должен ты, отец, бросить это постыдное дело.

Старик начинал терять самообладание. Глаза его сверкали

гневом. Он задыхался. Но Василий Алексеевич ничего этого не видал; ему хотелось высказаться до конца.

– Я тебе, отец, еще больше скажу, – проговорил он, желая освободить свою душу от лежавшего на ней камня. – Мне стала невыносима вся эта наша жизнь... Мне стало очень тяжело, мне надоел весь этот разврат... Но не пришлось дальше продолжать эти излияния Василию Алексеевичу. После последних его слов произошла ужасная сцена. Старик Сухоуков, вне себя от бешенства, вскочил с кресла и что есть силы ударил сына чубуком по голове.

– Сумасшедший выродок! – закричал он громовым голосом. – Лишу тебя всего... Околеешь под забором!

– Сумасшедший не я, а ты, отец! – крикнул в свою очередь Василий Алексеевич.

Он схватился за голову и выбежал из спальни отца. Пробежал комнаты флигеля, сопровождаемый испуганными взглядами высматривающих из-за дверей робких женских лиц. Быстрыми шагами пронесся через двор на свою половину в кабинет и бросился на диван, уткнувшись головой в подушку. Сколько он так пролежал, не помнил. Когда пришел в себя, почувствовал сильное недомогание. Началась нервная лихорадка. Его натура, здоровая и крепкая, надломилась. Да и было с чего ей надломиться. Слишком было много потрясений за этот роковой для него день.

## XI

В кабинет вошел Захар и испугался, в каком положении застал он барина. Лихорадка трепала молодого Сухорукова. У него, как говорится, зуб на зуб не попадал. Глаза были воспалены, руки дрожали.

Василия Алексеевича уложили в постель, он забылся. К вечеру начался бред.

Надо было обо всем доложить старому барину. Захар решился пойти на его половину. Несмотря на то, что Лидия Ивановна не пускала Захара к старику, говоря, что «они очень расстроены», Захар пробился к Алексею Петровичу. Он доложил о серьезном недомогании молодого Сухорукова. Как ни был зол на сына Алексей Петрович, но распорядился послать лошадей за доктором в уездный город. Уездный город находился в тридцати верстах от Отрадного. Доктора успели привезти лишь на другой день утром.

Ночь у Василия Алексеевича прошла тревожная. Больной продолжал бредить. Он провел ее в каком-то кошмаре.

Ему все снился колдун с его криками и заклинаниями, костер в лесу. Снилось, что колдун кидался на Сухорукова с топором... Что он отбивался от нападений колдуна... Что, наконец, колдун всей силой навалился к нему на плечи. При этом Сухоруков чувствовал боль и тяжесть в плечах и пояснице. Это были те же ощущения сдавленности и боли, что и

в тот момент, когда колдун творил в лесу свои заклинания.

Проснулся Сухоруков на другой день, когда начинало расцветать. Голова сильно болела. Удар, полученный от отца, давал себя чувствовать. Захар сидел около своего барина и с тревогой на него смотрел.

Первое ощущение во всем своем существе, которое, помимо головной боли, почувствовал Сухоруков, когда проснулся, – это ему почудилось, что словно какие-то кандалы связали его тело. Он хотел протянуть правую руку к стакану с водой, стоявшему на столике у кровати, но рука не слушалась. Она была неподвижна. Сухоруков с ужасом увидел, что она была как-то неестественно притянута к подбородку; ее, что называется, скрючило, и Василий Алексеевич ее разогнуть не мог. Левую руку он смог поднять с трудом и, жалобно застонав, потянулся за стаканом. Увидав это, Захар стал поспешно подавать барину воду. С усилием он приподнял молодого барина на постели, чтобы тот мог проглотить несколько глотков воды. Приподнявшись, Василий Алексеевич вдруг ощутил, что он встать с постели на ноги уже не может. Ноги его были как бы связаны. Они были парализованы, он ими не владел.

Василий Алексеевич был беспомощен и страшно несчастен. Он охватил слабой левой рукой шею Захара, который с нежностью и участием смотрел на своего барина, и вот Василий Алексеевич, который с малых лет никогда не плакал, вдруг зарыдал, как ребенок, припав головой на грудь верно-

го слуги.

Приехал доктор. Осмотрев больного, он прописал лекарство и установил известный режим ухода за больным. Отправившись на половину Алексея Петровича, доктор объявил старику, что у его сына нервный удар и что положение больного серьезно.

## XII

То состояние отчаяния, граничащее с умственным и нравственным оупением, которое охватило на первых порах пораженного болезнью Василия Алексеевича, начало через некоторое время проходить. Мысль, копошившаяся в мозгу больного, требовала своей работы. Она понемногу входила в нормальную колею. И, казалось, она, эта мысль, начала бы жить совсем правильно, если бы не новое ощущение сильной боли в правой скрюченной руке, которое чувствовал больной и которое перебивало ход его размышлений.

А Василию Алексеевичу было над чем подумать – подумать после того, что пришлось ему испытать за последнее время.

Особенно неизгладимое впечатление из всего, что пережил Василий Алексеевич, оставило после себя видение его матери – видение, происшедшее хотя и во сне, но такое яркое, совсем как наяву, видение беспощадное по своей силе. Впечатление от него было настолько велико и значительно,

что, по сравнению с ним, ссора с отцом теряла свою боль и остроту.

Это видение оказалось чревато серьезными последствиями для всей последующей жизни Василия Алексеевича. Оно дало зародыш появившемуся у него религиозному чувству. Раньше у Василия Алексеевича не было, в сущности, никакой религии. Не было у него также и никакого философского мировоззрения. Если он ранее и ощущал иногда как бы отдаленное признание каких-то особых сил, для него непонятных, – сил, которые делали возможным, например, страннику Никитке творить свои заговоры, то эти признания были отрывочны и случайны. Василий Алексеевич над этими силами не задумывался. Мысль обо всем подобном бесследно изглаживалась у него другими впечатлениями. Жизнь Сухорукова и без разрешения подобных загадок была сама по себе обаятельна. Эта жизнь неслась так быстро и беззаботно. Опьянение молодостью и чарами неизжитых страстей отвлекали Василия Алексеевича от серьезных вопросов – таких, например, как вопрос о том, зачем мы живем? что такое душа? есть ли потусторонняя жизнь? и прочее и прочее.

Но вот, после видения матери, Василий Алексеевич пришел к вере, что потусторонняя жизнь существует.

Для него сделалось несомненным, что мать его, Ольга Александровна Сухорукова, которую похоронили семнадцать лет тому назад, живет в ином мире, что она там о нем думает и о нем печалится... Когда Василий Алексеевич по-

сле постигнувшего его удара пришел несколько в себя, то осознал, что у него есть прочная опора в жизни, что у него есть защитница... Василий Алексеевич облегченно вздохнул при этой мелькнувшей у него мысли. Отчаяние стало проходить. Зародились смутные надежды на что-то лучшее, что должно к нему прийти. Ему даже почудилось, что, быть может, мать его сейчас здесь, в этой комнате... Она охранит его от всех зол.

Он упорно думал о своих новых ощущениях и надеждах, недвижимый в постели с закрытыми глазами...

Но вдруг внезапно кольнула его иная мысль, и мысль мучительная. Кольнуло его воспоминание о том, что он, Сухоруков, под влиянием какого-то ничтожного мужика Батоги-на решился снять с себя и забросить за печку драгоценную вещь – благословение матери... И как он мог до этого дойти?! Василий Алексеевич застонал от тяжелого воспоминания и открыл глаза.

Перед Сухоруковым стоял Захар с лекарством, прописанным барину доктором. Захар держал в руках стакан с «декохтом», сваренным из валерьянового корня (в Отрадном была своя маленькая аптека). Доктор перед отъездом показал Захару, как варить это целительное средство. Он возлагал на «декохт» большие надежды.

– Извольте, барин, выкушать, – объявил Захар. – Сейчас только сварено. Свеженькое-с.

Василий Алексеевич приподнялся с помощью Захара на



постели и выпил лекарство.

– Позови Маскаева, – наконец, не без усилия, сказал Василий Алексеевич.

– Зачем вам Маскаев? Опять изволите беспокоиться, – возразил Захар.

– Не твое дело... Не серди меня, Захар. Слушайся, когда говорят.

Захар заворчал что-то под нос, но вышел исполнять барскую волю. Через минуту он вернулся с Маскаевым.

– А теперь, Захар, уйди, – объявил Сухоруков, – и не злись, и не ворчи... Мне нужно с Маскаевым поговорить с глазу на глаз.

Захар повиновался.

– Маскаев, – обратился Сухоруков к доезжачему, – не удивляйся тому, что я тебе скажу... Не удивляйся и делай то, что тебе прикажут... У меня на шее был крест золотой на цепочке... Я тогда в избе... послушался этого Батогина... забросил у него крест за печку. Мне этот крест нужен... Я без него жить не могу... Возьми двух людей из охотничьей дворни... Поезжай с ними к Батогину... Иди в его избу, где мы ночевали, и выручи, во что бы то ни стало, этот крест. Хоть печку ему всю разломаешь, но чтобы крест лежал здесь на столе, слышишь?.. Знай, что это нужно... очень нужно.

– Будет сделано, – отвечал Маскаев. – Будет так, как изволили приказать.

Маскаев вышел. Сухоруков с облегчением вздохнул. «Вот

и увижусь опять с матерью, – подумалось ему... – Она всегда со мной будет. Она спасет меня».

И Василий Алексеевич закрыл глаза.

После нервного усилия при разговоре с доезжачим Сухорукова опять потянуло к забытию. Его охватила реакция полной слабости... Он скоро заснул.

Через минуту в спальню вошел Захар. Увидав, что Василий Алексеевич спит, старик остановился перед своим баринном и долго смотрел на него с величайшей любовью и нежностью. Уста старого слуги шептали молитву: «Господи, сохрани и помилуй раба твоего Василия», – тихо повторял Захар.

### ХІІІ

Старика Сухорукова всего поглотила только одна навязчивая идея – спасти Отрадное от продажи во что бы то ни стало. Ни о чем другом он не думал. Алексей Петрович ясно сознавал, что не пережить ему потери Отрадного, сознавал, что с Отрадным связана вся его жизнь, ибо другой жизни, вне этого владения, вне права распоряжаться отраднинскими людьми и удовлетворять свои барские прихоти, он себе представить не мог.

После описанной сцены с сыном, после этого, как определил старик Сухоруков «сумасшествия безумного мальчишки», Алексей Петрович схватился за новую, хотя и весьма

шаткую, мысль добыть средства к своему спасению. В округе оставалось только одно лицо, которое, как теперь показалось Алексею Петровичу, могло бы его выручить. Но иметь отношения с этим лицом было очень трудно. Сухоруков знал, что если просить это лицо о деньгах, то предстоит перенести большие унижения и притом со слабой надеждой на успех. Этим объясняется, почему до сих пор Алексей Петрович отгонял от себя всякую идею о подобной попытке, предпочитая ей даже ограбление Незвановой. Лицо это, эта последняя слабая надежда, о которой теперь вспомнил Сухоруков, был сам господин управляющий винным откупом в уезде, некто Хряпин, местный купец, человек денежный и значительный, но большой плут и притом самодур. Отношения этого Хряпина к старику Сухорукову были скорее враждебные, хотя с внешней стороны и политичные. Хряпин прекрасно знал, что Сухоруков вредил его откупному делу своим корчемством. Все усилия Хряпина были направлены к тому, чтобы изловить Сухорукова в спаивании народа дешевой водкой, но до сих пор это ему не удавалось, несмотря на обильные подкупы исправника и местной полиции, которая, по обычаям того времени, была вся на жаловании у откупщика. С внешней стороны Хряпин к Сухорукову был почтителен, ибо Сухоруков все-таки был большой барин и у него были связи в столицах.

К этому-то местному тузу, купцу Хряпину, Алексей Петрович и решил написать заискивающее письмо; послано оно

было тотчас же после размолвки с сыном. В письме Сухоруков высказывал желание приехать к Хряпину в уездный город. Алексей Петрович намекал на предстоящее денежное дело. Хотя надежда на Хряпина была плохая, Сухоруков верил в свою силу и думал как-нибудь обойти откупщика – утопающий хватается и за соломинку.

В день приезда доктора, вызванного к заболевшему сыну, старик с нетерпением ждал почты из уездного города с новостями из Москвы, где бесполезно метался и хлопотал сухоруковский поверенный об отсрочке торгов в Опекунском Совете. Этот поверенный в каждом письме к старику подавал отдаленную надежду на возможность отсрочки. Но Сухоруков этой надежде плохо верил.

Доктор, вызванный к молодому Сухорукову, приехал, как мы уже говорили, рано утром. Пробыл он в Отрадном только час времени, спеша уехать на операцию. Хотя доктор и сообщил старику Сухорукову, что положение сына серьезное, но тут же заверил старика, что будут приняты все меры по-ставить Василия Алексеевича на ноги.

Старик Сухоруков выслушал реляцию доктора с очень рассеянным видом. Ему было не до этих докторских разговоров о сыне. «Опасности для сына нет, и прекрасно». Он это только и вынес из визита доктора. Мысль о спасении Отрадного поглощала его всего.

Наконец из города привезли ожидаемую почту и подали Алексею Петровичу.

Привезли тогдашние журналы «Библиотека для чтения» и «Московский Наблюдатель», газеты «Северная пчела» и «Московские Ведомости». Алексей Петрович быстро все это отложил в сторону. – А вот, наконец, и письма! – Сухоруков вскрыл первое попавшееся ему под руку. Оказалось – совсем неожиданное из Петербурга от полицейского понытчика Саушкина, бывшего у Сухорукова на жаловании и исполнявшего разные поручения. Письмо начиналось словами: «Пути Божии неисповедимы, благодетель Вы мой, Алексей Петрович! 25-го сего июня в два часа дня скончался Ваш братец Александр Петрович от апоплексии...»

«Что такое?! – Сухоруков остановился читать. Он чуть было не ахнул. – Умер брат. Я – его наследник, – мелькнуло у него в голове. – Что такое! Чудо в решете?»

Сухорукое впился в письмо.

«... скончался Ваш братец Александр Петрович от апоплексии, – продолжал читать Сухоруков, – оставив всем нам великую скорбь о потере столь именитой особы... Радея о пользе Вашей, – читал Алексей Петрович дальше, – радея о пользе моего досточтимого благодетеля, я навел надлежащие справки, и по оным оказалось, что братец Ваш, переселившийся в небесный мир совершенно внезапно, не успел совершить духовного завещания на имя своей аманты Каролины Карловны госпожи Шпис, при нем неотлучно состоявшей и питавшей на Вашего братца большие надежды, а посему следует, что деньги братца Вашего, сиречь, ломбардные

билеты в сумме двухсот тысяч рублей ассигнациями, лежащие ныне в петербургской сохранной казне, суть неотъемлемая Ваша собственность, а также дом Его Превосходительства на Гороховой в три этажа с флигелями...»

Дальше в письме было неинтересно. Сухоруков еще раз с вниманием перечитал это письмо. «Удивительно!.. Удивительно!» – мелькало у него в голове. Следующие письма были: одно – от московского поверенного о том, что надежды на отсрочку продажи имения никакой нет, и, наконец, последнее письмо от купца Хряпина с извещением, что он, Хряпин, сейчас Сухорукова принять не может, ибо завтра уезжает в губернский город по делам откупа. Скомкав эти два последние письма, Алексей Петрович с веселой улыбкой бросил их в корзину. Радостное настроение охватило его. И еще бы ему не радоваться! Ведь агония Отрадного кончилась! Ведь все пойдет по-старому и даже лучше, чем по-старому. Сухоруков мог теперь совсем, совсем спокойно сидеть в своем вольтеровском кресле.

Но при всем том Алексей Петрович сознавал, что время было на счету. Надо было действовать, не теряя ни минуты: остановить торги и принять наследство. Надо было ехать самому в Москву и Петербург.

«Все это пустяки, все это будет сделано», – думал Сухоруков. Охватившее его радостное чувство доминировало над всем, давало старику молодую энергию. С этим свалившимся так внезапно наследством он на почве. Он хорошо знает,

что теперь не то, что было ранее. Теперь его послушают везде, где он будет хлопотать, послушают в Опекунском Совете, дадут необходимую отсрочку. Через месяц он вернется в Отрадное, устроив все дела, вернется с новыми затеями, с новыми планами.

Алексей Петрович распорядился сейчас же позвать к себе бурмистра Ивана Макарова.

Бурмистр, высокий старик с окладистой бородой, вошел к барину. Бурмистр этот был правая рука Алексея Петровича в его хозяйстве. Иван Макаров пользовался большим доверием своего господина.

– Сегодня я уезжаю, – объявил ему Сухоруков. – Прикажи кучерам изладить дорожный дормез и сейчас же послать подставу в Троицкое, чтобы нам в две упряжки быть на шоссе у станции. Там я ночую и завтра на почтовых в Москву и Питер. Со мной поедут Егор и повар Филипп.

Алексей Петрович дал указания бурмистру относительно уборки хлеба, которая уже началась, сделал еще необходимые распоряжения, и только когда все было налажено, успокоился.

## XIV

Совершенно оживший и уверенный в себе, уверенный в своем положении, старик вспомнил наконец о сыне.

Перед его мысленным взором пронеслось все то, что за

последнее время произошло в их отношениях. Алексей Петрович теперь имел возможность хладнокровно и спокойно это обдумать и, к стыду своему, не мог не признать, что сын его был прав в своем отказе идти на его отчаянную затею. Ведь, действительно, мало ли чем эта затея могла кончиться, и имя Сухоруковых могло быть опозорено уголовщиной. Сын был прав, говоря, что Сухоруковы грабежом еще не занимались. А он, отец его, за это так оскорбил сына... Положим, что и Василий был опрометчив в своей дерзости и горячности, но все же он, Алексей Петрович, нанес сыну тяжкое оскорбление, оскорбление жестокое... И вот сын его теперь лежит больной...

Старик Сухоруков словно съезжился, когда все это ему представилось. «Черт знает, как все это вышло! – проговорил он с сердцем. – Ведь сын по существу прекрасный малый, человек лихой и породистый, и огонек в нем настоящий, сухоруковский. И компаньон он отличный. Ведь это он, отец его, из-за своей прихоти уговорил Василия выйти из полка, испортил его карьеру». – Чем больше Алексей Петрович думал обо всем этом, тем более мучила его совесть. Любовь к сыну проснулась у Сухорукова с прежней силой.

В дверях показалась деbeatая Лидия Ивановна, вся встревоженная; она только что узнала от бурмистра о внезапно предположенном отъезде барина.

– Вы сегодня уезжаете, – сказала она, опустив глаза. – Что такое случилось?



– Не твое дело, – отрезал Алексей Петрович, – после узнаешь. Захара мне позови, да поскорее!..

Явился Захар.

– Ну, Захарушка, здравствуй, – сказал Алексей Петрович ласково, как только на это был способен. – Ну, что твой барин?.. Доктор говорил, что это отойдет... Что, он все еще лежит?..

– Очень они плохи-с, – сумрачно отвечал Захар. – Рука у них скрючена-с, и на ногах стоять не могут. Они вместе с Маскаевым ночью за сорок верст куда-то ездили. Дорогой, надо полагать, простудились... Теперь все у них разболелось, и мурашки по рукам и ногам бегают. Очень они жалуются. По временам даже вроде как бы судороги в ногах-с...

– Он теперь спит? – спросил Сухоруков.

– Сейчас проснулись, – отвечал Захар. – Фершал из Троицкого приехал. Будет им пиявки ставить...

– Ступай к сыну, – сказал Алексей Петрович, – предупреди его, что я сейчас приду.

Старик Сухоруков вошел к больному, когда Василий Алексеевич не спал и не был в забытии. В комнате никого не было; больной лежал под белым одеялом, лежал неподвижный, с особым, новым для Алексея Петровича выражением печальных глаз, устремленных на одну точку. На лбу Василия Алексеевича сложилась характерная поперечная морщинка. Правая рука поверх одеяла была неестественно притянута к лицу. Пальцы этой руки были как-то странно,

некрасиво согнуты.

При входе Алексея Петровича взгляд сына упал на отца. Больной слабо улыбнулся и сказал:

– Вот какой я, дурак, лежу... Видишь, отец, совсем никуда я негодный...

Нелегко было Алексею Петровичу увидеть таким своего сына. Совесть мучила его, и ему хотелось каяться.

– Я пришел к тебе, Василий, – не без усилия заговорил старик Сухоруков, – пришел прощения у тебя просить...

– Пустяки, – отвечал Василий Алексеевич, – мы оба с тобой горячие... Вот и все.

– Пришел прощения просить, – продолжал Алексей Петрович. – И слышишь, Василий, чтобы не поминать нам этого... чтобы совсем забыть...

– Полно, отец, – тихо улыбнулся больной, – я тебя знаю. Когда людям круто приходится, все может случиться.

– Да что же это с тобой в самом деле? – заговорил иным тоном Алексей Петрович. – Откуда такая необыкновенная напасть? Ну, ударил я тебя – это было. Но откуда это все взялось, – говорил Алексей Петрович, указывая на скрюченную руку, – с чего ты обезножел?

– Не спрашивай, долго рассказывать, – отвечал Василий Алексеевич. – Завтра расскажу, когда соберусь с силами...

– Завтра не придется, Васенька. Завтра я буду далеко отсюда, буду катить на почтовых в Питер... Да что же это я? Я тебе еще главного не сказал! – спохватился Алексей Пет-

рович. – Дядюшка-то твой Александр Петрович, сенатор-то наш, приказал долго жить... И представь себе, он оставил нам наследство, и порядочное, больше двухсот тысяч... Это совершенно как в сказке... Совсем даже невероятно.

– Я так и знал, что все обойдется, – спокойно, без всякого удивления отозвался на эту новость больной. – Мать нас недаром удержала...

При этих словах на лице Василия Алексеевича появилась торжествующая улыбка...

– Недаром она нас удержала, – повторил он, – а ты мне тогда не поверил... Теперь сам видишь...

Сказав это, Василий Алексеевич с той же торжествующей блаженной улыбкой закрыл глаза и добавил:

– Видишь, как хорошо все вышло... И я выздоровлю; я в этом не сомневаюсь, а ты поезжай...

Алексей Петрович понял, что не следует больше тревожить сына. Он подошел к нему, наклонился и поцеловал его в лоб с искренним горячим чувством.

– Поправляйся, Васенька, поправляйся, – сказал он. – Я тоже не сомневаюсь, что ты поправишься. А меня ты совершенно прости, – сказал он еще раз. – Ведь оба мы с тобой такие сумасшедшие... Что поделаешь!.. Такая уж наша порода сухоруковская.

В этот же день Алексей Петрович выехал из Отрадного в Петербург.

## XV

Из своей командировки возвратился доезжащий Маскаев и порадовал Василия Алексеевича удачей. Он привез молодому барину отысканную драгоценность – крест на золотой цепочке. Все обошлось благополучно. Колдун против обыска не спорил. «Барин ваш сам закинул свое добро, – говорил он охотникам, – ну и ищите евоную вещь, коли он вас за ней прислал... Очень мне она нужна».

Ощущая на шее драгоценный крест, Сухоруков нравственно ободрился – тяжелый камень свалился у него с сердца.

Приехал доктор. Он нашел в больном некоторое улучшение и решил поставить Василия Алексеевича на костыли. Доктор боялся только, что согнутая рука больного будет этому мешать. Однако с помощью левой руки, державшей костыль довольно твердо, и с помощью Захара, охватившего молодого барина за талию, Василия Алексеевича удалось пересадить с постели на кресло к открытому окну. Правда, ноги его были слабы, но не настолько, чтобы больной не мог ими передвигать.

Сидя в кресле, Василий Алексеевич жадно впивал в себя свежий воздух. Ему вдруг безумно захотелось покурить. Доктор и это позволил, и тогда Сухоруков, страстный курильщик, с наслаждением начал затягиваться из поданной

Захаром трубки, набитой знаменитым в те времена «Жуковым» табаком. Больной видимо оживал. Ему хорошо сиделось у окна, расположенного в тени на северной стороне дома.

Ободрив больного надеждой на выздоровление и дав несколько указаний, доктор сейчас же уехал. В то время в докторях была всеобщая нехватка; доктор был один на целый уезд.

Хорошо сиделось у окна Василию Алексеевичу. Стояла чудесная погода; было совсем тихо и нежарко. День клонился к вечеру. Косые тени от дома и деревьев тянулись по зеленому газону; перед окном был богатый цветник, а дальше видна была старая липовая аллея, густая и тенистая.

Василий Алексеевич отдался своим размышлениям. Размышления же его были все те же – он старался проникнуть в существо пережитых им за последнее время впечатлений, и вот у него начала слагаться своя очень оригинальная религия, совсем отличная от христианской. Христианскую религию он продолжал по-старому не признавать. Христос для него был просто человек – человек, несомненно, великий, но, по существу, такой же пророк, как и другие пророки, как, например, Магомет или Зороастр. Если народ верит в Христа – это очень хорошо, – думал Василий Алексеевич, – но эта религия не для него, Сухорукова. Он выше этих детских воззрений... Какая же его вера?.. Какие его основы?..

У Василия Алексеевича начинало слагаться верование,

что в мире имеются две категории сверхприродных сил, которые, как он теперь убедился, влияют на людей. Силы зла и силы добра. Силы эти приходят к человеку извне; но не все люди это понимают и чувствуют. Многим кажется, что они сами в себе эти силы носят. Он же, Сухоруков, теперь узнал, что есть как бы особые вихри зла и добра, которые существуют независимо от людей и на людей влияют. Вихри злые иногда всецело захватывают существа слабые или страстные, и те им отдаются и бороться с ними не могут, принимая их за что-то роковое, – отсюда понятие о роке у древних. Но между этими вихрями есть и силы хорошие, охраняющие человека. Когда он, Сухоруков, с Батогиным колдовали в лесу, разве не хорошие силы оградили тогда старуху Незванову от ударов колдуна?.. Есть между людьми такие счастливицы, как, например, он, Сухоруков, у которых имеются свои хорошие защитники... Его, Василия Сухорукова, доброе божество – это его мать... Только он этого раньше не знал, а теперь недавно в этом убедился. Не будь матери, он совсем бы погиб от вихрей злых и, что всего ужаснее, погиб бы нравственно...

«Колдун Батогин, – продолжал думы свои Сухоруков, – несомненно раб злого духа, сознательный дьявольский слуга. Кроме зла в нем самом, этого человека захватил особый наносный вихрь дьявольской силы».

Не поддавался только определению Василия Алексеевича странник Никитка. Никитка был заражен таинственными

влияниями, действовал как бы от них... «Это было так; – признал Сухоруков, – но какие это были влияния? Ведь Никитка вылечил Машуру... Стало быть, сделал доброе дело, а вот его, Сухорукова, он натравил на колдуна, и, не спаси его умершая мать, он погиб бы нравственно безвозвратно».

И думы Сухорукова остановились опять на матери – на этом его божестве. Он словно видел ее перед собой, и у него явилась даже особая потребность прибегать к этому своему божеству в молитве, прибегать к нему для ограждения себя на будущее время от злых влияний. Он начал даже сочинять молитву... Он будет читать матери эту молитву каждый день утром и вечером... Будет призывать ее на помощь...

Размышления Василия Алексеевича прервал вошедший Захар.

– К вам гостья, – доложил он, – навестить пришла...

– Какая гостья? – словно очнувшись от сна, проговорил Василий Алексеевич.

– Марья Васильевна-с... Говорит, по вас соскучилась...

– А, Машура!.. Что ж!.. Зови. Очень рад, – сказал Сухоруков.

Через минуту вошла Машура.

Сухорукова удивило, что она была одета в черное, точно монастырская послушница; только на голове у нее был беленький платочек. До сих пор, когда она приходила к барину, она всегда наряжалась в цветные наряды, в чрезвычайный по яркости сарафан, в шелковый красный платок. Шея Машу-

ры всегда украшалась ожерельями из красных и белых бус.

– Здравствуйте, милый барин, – сказала Машура, – что это с вами за беда приключилась?..

– Ты мне раньше скажи, – отвечал ей Сухоруков, – что это с тобой сделалось? Почему ты такая черная ходишь? Разве кто умер у тебя?..

Машура опустила глаза.

– В скит я собрамшись, – тихо сказала она, – проситься в скит пришла...

– Опять ты за старое, – сказал Василий Алексеевич, – опять эти скиты в голове.

– Барин мой дорогой, отпусти ты меня хоть на месяц на один.

Сухоруков покачал головой.

– Не понимаю, – проговорил он, – с чего тебя в эти раскольничьи скиты тянет?

– Оказия такая вышла, барин мой милый. Вчера моя крестная мать оттуда приехала, она маменьки моей свояченица. У нее и лошади свои, зовет погостить... Очень уж хочется мне помолиться, тамошнего христа повидать...

– Христа! Какого Христа?.. – не без удивления спросил Сухоруков.

– А такой у них Христос объявился, – отвечала Машура, – божественный человек; чудеса он творит. Отпустишь меня, жалеть не будешь... Я у него об тебе похлопочу. Он твою болезнь вылечит...



– Спасибо за хлопоты, – сказал Василий Алексеевич, – и без него вылечусь... У меня своя вера есть...

– Крестная мать говорит, что тот бог, который у них, совсем особенный...

– Да чего ты взбеленилась к этому особенному богу?..

– Не взбеленилась я, а мне вроде как бы указание было, – таинственно проговорила Машура.

Сухоруков большими глазами смотрел на гостью. «И у нее своя душевная работа идет», – подумалось ему. Он увидел сейчас в Машуре большую перемену. Матовое лицо с черными бровями и длинными ресницами было серьезно и строго. Глаза словно потемнели. От прежней вакханки не осталось и следа.

– Ты говоришь, было тебе указание... Какое указание? – спрашивал Сухоруков.

– Вы, барин, будете смеяться...

– Не буду я смеяться... чего ты прячешься.

– Напрасно я только начала, – упиралась Машура.

Сухоруков не унимался, стал настаивать. Наконец он добился. Машура рассказала все.

– Ты помнишь, барин дорогой, – начала она, – какие у меня страшные раньше сны были. Я всегда была такая. Все меня нет-нет и потревожит... либо сны вижу, либо что наяву чудится. И вот, после этих злых снов ко мне теперь другое стало приходить... стала приходить радость большая... Третьего дня пошла я за грибами рано утром... Утришко было

чудесное... Такое было утро, что никогда его не забуду. Стало солнышко всходить; все словно золотом покрылось. Вышла я на поляну. Стою, люблюсь... Сладость какая-то меня взяла, и стала я чувствовать, что начинаю от радости кружиться, и вдруг чувствую, что поднимаюсь с земли... Мне кажется, что меня поддерживает что-то... Все кругом меняется... Леса, поля, горы. Все будто плывет, и чудится мне, что возношусь я все выше и выше и там в небесах несусь... И вижу такой свет, такой свет!..

– Потом я опомнилась... опять на поляне стою... После этого видения домой пришла и что же вижу? Дома у нас моя крестная мать сидит, Таисой ее зовут, она только что приехала и, что самое удивительное, меня Таиса такими словами встречает: наш Христос тебе, говорит, кланяться велел. В скит тебя зовет. К нам, Маша, поедem, погостишь у нас...

– Да кто же этот ваш чудотворец? – допытывался Сухорукков. – Откуда он? Как его зовут?

– Таиса наказывала мне об нем не болтать... Даже матери не говорить. Ты никому не скажешь, коли открою? – сказала с некоторым страхом Машура.

– Конечно, не скажу. И чего ты боишься, право, не понимаю.

– Это Ракеев Максим Васильевич, чернолуцкий купец, – таинственно объявила Машура. – Вроде как Христос, как Бог настоящий...

– Странные новости от тебя я слышу, – произнес после

некоторого молчания Сухоруков.

И надо сказать, что все, что Василий Алексеевич услышал от Машуры, получило для него теперь особое значение. Машура стояла перед ним в новом освещении; он смотрел на нее совсем иными глазами.

– Так отпустишь меня с Таисой в скит ихний? – продолжала приставать Машура.

Кончилось тем, что Сухоруков не смог ей отказать. Он согласился. Она простилась с баринном и, счастливая, отправилась на свой хутор.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## I

Приехавшая издалека в Отрадное крестная мать Машуры, Таиса, была бездетная вдова. Она жила уже два года в глухих чернолуцких лесах. Местность, где она теперь пребывала, находилась более чем за двести верст от Отрадного. Таиса была старой приятельницей Евфросиньи и приехала к ней не без цели. Таиса давно знала Машу, дочь Евфросиньи, и любила ее. Было время, когда Таиса жила близко от Отрадного вместе со своим мужем, который был казенным крестьянином в соседней волости. Таиса тогда часто навещала Отрадное, крестила у Евфросиньи единственную дочь и взялась даже учить девочку грамоте, когда та подросла. Сама же Таиса натренировалась грамоте еще в молодости у дьячка; она имела большое тяготение читать духовные книги. Дочь Евфросиньи Машура, в свою очередь, любила крестную и с восторгом всегда слушала, как та ей рассказывала интересные эпизоды из жизни святых. Машура оказалась способной в учении, но скоро его пришлось прекратить. С потерей мужа бездетная Таиса ушла в чернолуцкие леса и предалась там «духовному житию» в одной сектантской общине. После ухода Таисы и поселения в общине к ней дошла весть, что Маша, которой

было тогда уже семнадцать лет, стала жить «в грехе» с молодым отряднинским барином, что он взял ее за красоту в полюбовницы и поселил с матерью у себя на хуторе.

У Таисы явилось желание во что бы то ни стало выволить Машуру из крепостного состояния, выволить ее из того греха, в который она попала. «Можно будет, – думалось ей, – выкупить Машу у господ Сухоруковых». Такие выкупы у сектантов делались в те времена нередко. Деньги на это давались добрыми людьми, поддерживавшими сектантские общины. Надо было только самой Таисе сначала укрепиться в общине; кроме того, надо было заманить Машу к себе на побывку. Все это пока ладилось, планы Таисы начали осуществляться. За те два года, что Таиса основалась в общинной обители, ее там оценили – оценили ее благочестие и грамотность; она была сделана «духовницей». На нее было возложено привлекать в общину молодых девиц, способных на духовные подвиги. И вот теперь она повезет к себе крестницу, она приручит ее там... А деньги они для выкупа найдут. Максим Васильевич Ракеев поможет.

Ракеев жил на границе лесной чернолуцкой глуши в небольшом селении Виндреевке на берегу реки Роски, бравшей свое начало в чернолуцких лесах. По этой реке и по ее маленьким притокам, расползавшимся в лесах и разливавшимся в половодье, виндреевские казенные крестьяне плавили лес в дальние промышленные города. Чернолуцкие леса были большие; часть их считалась принадлежащей каз-

не, часть принадлежала князьям Стародубским. Всего было несколько сот тысяч десятин; смотрение за этими лесами тогда было слабое, и промысел для виндреевских крестьян был выгодный. На нем особенно разбогател умерший лет двадцать назад старик Ракеев, отец Максима Васильевича. Он оставил сыну, как говорили мужики, «большие тыщи».

Максим Васильевич Ракеев жил в Виндреевке в собственном большом доме, резко выделявшемся между другими крестьянскими домиками. Ракеев был вдов и бездетен. В глазах местных властей он считался православным. Он посещал по большим праздникам православный храм, находившийся в ближайшем селе, отстоящем от Виндреевки в пятнадцати верстах, ладил с попом, ежегодно исповедывался у него и причащался, а сам под шумок основывал общины – обители в чернолуцких лесах. Он купил для этих обителей у князей Стародубских около тысячи десятин. Он называл свои общины «божиими питомниками». Ко времени нашего рассказа таких «божиих питомников» он основал два. В одном из них и устроилась Таиса.

Местные власти знали, что Ракеев втайне принадлежал к секте «божиих людей», или «хлыстов», что он среди хлыстов – один из главных деятелей, что обители, которые он поддерживал, не были раскольничьими скитами, а были в сущности хлыстовскими общинами, но Максим Васильевич умел ладить со всеми. Он не жалел денег на «подмазку». Все, что следовало купить, были куплены Ракеевым. К тому же,

места были около Виндреевки глухие. Становой жил в тридцати верстах, священник – в пятнадцати верстах. Обитатели «божиих людей» были устроены еще дальше, в самой глуши. И власти оставляли все это в покое и самого Ракеева не трогали. Все шло благополучно.

Таиса, обосновавшаяся в одной такой общине, давно имела тяготение к хлыстовству. Года два тому назад судьба столкнула ее с Максимом Васильевичем в Москве, куда она ходила на богомолье. С ним она познакомилась у известной в Москве хлыстовской пророчицы Борисовой. Ракеев был там весьма почитаем. Таиса слышала о его благотворительности. Бедная, одинокая крестьянка, она искала себе пристанища в общине «духовных христиан», как тогда именовали себя хлысты. Ракеев обратил на нее внимание; он поместил ее в свою общину. Таиса глубоко в него уверовала. Она беззаветно отдалась служить его делу. И теперь уже год, как она «духовница». Она исполняет его указания «пещись об умножении их братьев, пещись о привлечении молодых девушек в обитель». В обители этим девушкам внушали «праведное житие и истинную веру». Ракеев постоянно говорил своей духовнице, что «горячих к подвигу девушек любит Бог, и если они от чистого сердца последуют за ним, Ракеевым, то он им приготовит славные венцы».

## II

Погостив у Евфросиньи три дня и уговорив Машуру ехать с собой, Таиса отправилась с ней в «скит» вдвоем. Евфросинья осталась на хуторе из-за хозяйственных дел. На хуторе была земля, отданная ей и дочери в пользование господами. Надо было обратиться с хлебом. Евфросинья не была посвящена в планы и тайную деятельность Таисы. Она не знала, что обитель, куда везла Таиса Машуру, была хлыстовская. Надо сказать, что народ в те времена, как и теперь, хлыстов осуждал, называя хлыстовство «темной сектой». Евфросинья думала, что Таиса живет в обыкновенном староверческом скиту, которых было тогда немало. Евфросинья сама имела влечение к старой вере, к раскольничьим скитам. Староверы-раскольники были и в числе сухоруковских крестьян. Поэтому Евфросинья с легким сердцем отпустила свою дочь с Таисой в «скит», тем более и барин позволил. Старуха не сомневалась, что дочь ее скоро вернется.

Нашим странникам предстояло совершить немалый путь – сначала в Виндреевку, где жил Максим Васильевич, а оттуда они предполагали добраться до обители. Ехали они до Виндреевки более четырех суток. Езда была с многочисленными остановками и ночевками. Путешествие совершалось в кибитке, запряженной парой лошадок. Кучером у них был старик Афиноген, молчаливый мужик, взятый Таисой в Вин-



древке из ракеевских рабочих.

Таиса, бодрая еще женщина лет пятидесяти, во время до-роги заманчиво рассказывала своей крестнице о жизни в об-щине, говорила, что у них есть своя настоятельница, что она высокой жизни, может даже «пророчествовать», что у них бывают «радения».

– Это что же такое, радения? – спрашивала Машура.

– А это то же самое, – отвечала Таиса, – что было с тобой на поляне, как ты мне рассказывала... когда ты к престолу Божию на небо подымалась... У тебя это, у умницы моей, тогда само собой вышло... На тебя дух нашел по благодати Божией... А у нас к этому готовятся и тоже начинают, как ты, кружиться и потом словно душой своей на небо улетают...

– Меня на это радение пустят? – спросила Машура.

– Не сразу, милая, не сразу... Сначала тебе искус будет, и, коли тебе у нас понравится, тогда может выйти и принятие для радения... и окромя того еще, что на это наша богородица скажет...

– Это какая же богородица? – спрашивала Маша.

– Сама настоятельница наша, мать Манефа. В ней дух свя-той обитает, – пояснила Таиса, – она самим нашим Христом к нам поставлена...

– Ты говоришь о моем принятии, – продолжала свои рас-спросы Маша, – это что же?.. Если меня к вам захотят при-нять, и я соглашусь на это, значит, тогда домой уж вернуться нельзя?..

– Там видно будет, – сказала уклончиво Таиса. – Нечего вперед загадывать. Ты, может быть, у нас свое счастье найдешь... Быть может, захочет Максим Васильевич тебя выволить...

– Как это выволить, крестная?..

– Да очень просто, – растолковывала Таиса. – От твоих господ выкупить... за деньги выкупить... будешь тогда вольная...

Машура сделала серьезное лицо и покачала головой.

– Не пустит меня мой барин, – сказала она. – Я его знаю... Он меня любит... Он и так сейчас еле отпустил... Отпустил только на месяц. Да и отпустил-то потому, что сам болен. Я ему теперь не нужна... За ним Захар Иванович ходит...

– Любит, любит, – передразнила крестницу с неудовольствием Таиса, – знаем мы их, как они любят... Завтра другая ему приглянется, и забудет он тебя...

Машура отвернулась от Таисы. Речь эта ей не понравилась. Ей стало тяжело... Таиса это заметила; она увидела, что лицо молодой спутницы затуманилось.

– Да ты сама, кажись, с ним разлучиться не можешь, – сказала она. – Что ж... И поезжай домой, коли охота тебе быть барской любовницей, коли охота в грехе жить... Мы никого насильно не держим.

Разговор этот произвел впечатление на Машуру. Веселость ее, с которой она выехала из Отрадного, пропала.

Она почувствовала, что крестная ее везет неспроста, что

она осуждает ее греховную жизнь с барином, что эта жизнь ее должна кончиться, что вообще судьба ее может измениться...

За всю дорогу только один такой серьезный разговор у них и был; больше он не возобновлялся.

### III

Приехали наши путешественницы в Виндреевку поздно, к самой ночи. Они остановились ночевать у таисинового знакомого мужика. Таиса объявила Машуре, что на другой день утром они пойдут к Ракееву, который здесь как помещик живет, что надо будет ему показаться. А потом они уже поедут в обитель, которая находится по ту сторону реки Роски. В обитель они поедут завтра на одной лошадке, пристяжную придется отстегнуть. Иначе в лесу не проедешь, дорога там глухая. И ехать им придется шагом довольно долго. От Виндреевки до обители было более двадцати верст.

На следующее утро Машура встала рано. Она плохо спала и была в волнении. Ей предстояло скоро увидеть самого Ракеева – этого удивительного человека, о котором она так много слышала от крестной. Каков-то он ей покажется?.. Крестная говорила, что будто он все мысли человеческие может угадывать, что он «живой бог во плоти»...

Все это пугало Машуру и вместе с тем возбуждало ее любопытство.

Наконец они собрались «ко Христу», как выражалась Таиса.

Большой двухэтажный дом Ракеева стоял на возвышении над рекой Роской. Наверху жил сам хозяин, внизу у него была моленная. Построил этот дом Ракеев после смерти жены лет десять тому назад. Построен дом был из крупного леса. Бревенчатые стены были окрашены в желтый цвет.

Таиса и Маша вошли через ворота, которые были отворены. Их встретил внизу благообразный старик, одетый в черную хламиду вроде монашеского подрясника, подпоясанную черным ремнем.

– Здравствуйте, Никифор Петрович, – сказала Таиса старику. – Дома Максим-то Васильевич?.. Не обеспокоим мы его?.. Я вот к нему на поклон мою крестницу привезла...

– Пожалуйте, – приветливо отвечал Никифор. – Максим Васильевич дома и только что чай откушали.

– Это ракеевский апостол, – шепнула Машуре Таиса, указывая на Никифора.

Они поднялись наверх по широкой деревянной лестнице, устланной широким половиком, и вошли через переднюю в приемную комнату.

В комнатах была большая чистота. Везде были разостланы половики по крашеному полу. Было очень благообразно и казалось даже удивительно по убранству для такого глухого места, как Виндреевка. На окнах были везде миткалевые занавески с красной бахромкой. Стояла мебель красного дере-

ва. В углу приемной на особой подставке возвышался большой образ старинного письма, изображавший Нерукотворного Спаса. Перед иконой горела лампада. Было в комнате тихо и таинственно.

Наши паломницы в своих темных одеяниях с белыми платочками на головах уселись в ожидании хозяина на стульца, стоящие около большого дивана, крытого малиновым трипом. Никифор пошел во внутренние комнаты доложить о них хозяину.

Через несколько минут вышел Ракеев. Он держал в руках книгу в старом кожаном переплете с застежками. Видно было, что он только что оторвался от чтения. Он положил книгу на стол около дивана, посмотрел на пришедших и, узнав Таису, сказал:

– Здравствуй, духовница... Это кто же с тобой?.. Кого привела?..

Машура впиалась своими черными глазами в Ракеева.

Перед ней стоял мужчина лет за сорок, роста выше среднего, одетый в суконную поддевку, в высокие сапоги бутылками. Лицо Ракеева с грубыми чертами было окаймлено темно-русой бородой. Волосы на голове были тоже русые. Серые глаза показались Машуре сначала будто мутными.

– Она из Отрадного, кормилец, – отвечала с большим благоговением Таиса, – эта верст двести отсюда... Она – крестная моя дочка...

– Ну, здравствуй, Маша, будешь наша!.. – сказал вдруг Ра-

кеев, внимательно взглянув на Машуру. Глаза его при этом загорелись каким-то особым блеском. Мутность их исчезла. Машура была поражена и словами Ракеева, и его взглядом. Она опустила голову и не знала, что отвечать.

– Ничего, ничего, Машенька, не робей, родненькая. Будешь наша, этого не минуешь... – Ракеев обратился к Таисе:

– В обитель везешь, на испытание?

– Она крепостная господ Сухоруковых, – сказала робко Таиса.

– Это ничего, что крепостная... Она мне нравится... Вези, вези... Мы ее справим хорошо. А вот я ей сейчас подарочек дам, – Ракеев пошел во внутренние комнаты и вынес оттуда черные монашеские четки. Он протянул эти четки Машуре.

– Бери, целуй руку, – сказала Таиса своей крестнице. Машура взяла и хотела поцеловать руку Ракеева.

– Не надо, – сказал тот с ласковой улыбкой. – Мы с ней просто в губы поцелуемся, по христианскому обычаю. – Он подошел близко к Машуре, смотря весело ей прямо в глаза, взял за плечи и поцеловал довольно плотно без всякого смущения. – Какая она у тебя ладная, да белая, – обратился он к Таисе. – А ты не робей, родненькая, – сказал он опять Машуре, которая вся зарделась от его поцелуя. – Все мы братья и сестры во Христе. Я вот и с ней, со старушкой, также похристосуюсь, – сказал Ракеев, подойдя к Таисе и поцеловав ее в губы. – Так-то, миленькие! А теперь идите, я еще за вами в обитель пошлю... Скоро у меня здесь будет годовое

моление... Вот ее, – обращаясь к Таисе, сказал Ракеев, – ты и привезешь на наш праздник... Только скажи Манефе, что сначала ей нужно принятие сделать...

Таиса и Маша ушли. Таиса была в полном восторге; она ног под собой не чувствовала.

– Вот, привел Бог благодать от самого Христа получить... – говорила она. – Так-то это радостно, так радостно...

Маша молчала. Она была смущена и нервно перебирала в руках данные ей четки.

– И четки он тебе дал, – говорила Таиса. – Ах, как хорошо!.. Какая ты счастливая... Ему понравилась!.. Вот по этим четкам теперь молиться будешь...

## IV

Из Виндреевки наши путешественницы выбрались часов в одиннадцать утра. Они двинулись дальше уже вдвоем, без возницы; Афиногена задержал старец Никифор по особому делу. Тот должен будет доставить в обитель новые паникадила для моленной, которые пришли из Москвы, а также восковые свечи.

Таиса хорошо знала лесную дорогу в обитель. Она взялась сама править лошадю. Наши спутницы долго ехали в лесу в полном молчании. Наконец это молчание было прервано Машурой.

– Какой он удивительный! – сказала она как бы про се-

бя. – И какие у него глаза!.. Навек запомнишь... – И Машура устремила вдаль свой пристальный взор. – Я вот и сейчас словно их вижу... – проговорила она.

– И как он мог мое имя угадать! – продолжала вслух удивляться Машура. – А когда подошел он ко мне, мне страшно сделалось... Хоть бежать была готова... Только потом я оправилась, – улыбнулась Машура, – потому что он ласковый...

– Он божественный, Маша, божественный! – восторженно отозвалась на эти машурины слова Таиса. – Он истинные чудеса может совершать...

– А барина моего он может от болезни вылечить? – спросила вдруг свою спутницу Машура.

– Само собой, может, все может, – отвечала Таиса. Но после этих слов духовница повернулась к своей крестнице и покачала ей укоризненно головой. – Экая ты, Машенька! Не можешь ты своего барина из головы выбросить, – выговорила она, – ты о себе лучше думай... Подумай, как бы тебе жизнь праведную начать... А энти мысли ты брось...

– Я о себе, крестная, и думаю, – оправдывалась Машура, – я свою душу хочу спасти... Для этого в вашу обитель еду...

– То-то вот, душу спасти!.. – покачала опять головой духовница. – А как спасешь-то ты ее? Вот наша вера как раз к спасению и приводит... Эта вера особенная! Это – сама правда истинная, не то что у других раскольников... Ее понять надо. Не всякий ее понимает.



– Ты и растолкуй мне, крестная, эту свою правду истинную, – сказала Машура.

– Видишь ли, милая Машенька, – начала толковать Таиса, – по нашей вере Бог может в людей вселяться, и эти люди, скажу тебе, могут сделаться христами. И, значит, Христос не один... Только это очень редко бывает... Душу-то человеческую с грехами нужно убить, чтобы Бог вселился... А кто это может?.. В нашей округе только один такой христос и есть – Максим Васильевич... А вот на Москве первый христос был Данила Филиппович из города Костромы... Это давно было... Потом был христос Иван Тимофеевич из Мурома. И богородицы по нашей вере являлись и являются...

– Я об этих христах что-то вовсе и не знала, – произнесла Машура.

– Где тебе, милая, это все знать... А у нашего Максима-то Васильевича двенадцать апостолов, – продолжала свою речь Таиса, – которые из них в Виндреевке живут, а которые в других деревнях... Они веру нашу проповедуют. Старец Никифор, что нас в Виндреевке встретил, тоже апостол. Он часто к нам в обитель жалует... И может чудотворить; только он не такой блистательный, как Максим Васильевич...

Таиса разговорилась, благо Машура ее с великим вниманием слушала.

– У нас, милая, такой устав, – продолжала с увлечением духовница, – первое дело: соблюдай посты, потом будь целомудренна, живи в чистоте, а также в полном смирении ста-

райся быть. Вот так душу-то человек от грехов и очистит... И не думай, Машенька, чтобы мы насильно в обители держали... Из нашей обители девицы опять в мир идут, значит, по своей свободе, они вольные... У нас только они в вере и духовном житии окрепают...

– А замуж они потом выходят? – спросила Машура.

– По нашей вере, Машенька, они должны иметь мужей духовных, и любовь у них к таким мужьям должна быть особенная, ангельская... Стало быть, не плотская, не такая, как у всех людей... И мужья у них тоже нашей веры... В нашу веру и замужних принимают, – продолжала разъяснять крестнице Таиса, – но только требуют от них, чтобы жена обещалась со своим законным мужем стараться жить врозь... И вот все они потом святыми делаются, потому что только о своем спасении да о божественном думают... И на них дух святой нисходит; они в блаженной радости ликуют... И видят чудеса великие. И ты увидишь эти чудеса, Машенька. Вот увидишь чудеса на большом молении у Максима Васильевича. И такая, погляжу я на тебя, ты счастливая. Ведь сам Максим Васильевич приказал тебя на этот праздник привести. А на нем только избранные бывают...

«Вот любопытно-то», – подумала про себя Машура и самодовольно улыбнулась. Ей приятно было сознавать, что такой человек, как Максим Васильевич, был с ней ласков, что он позвал ее. И ей было очень интересно, какие это у него чудеса бывают.

Добрались наши путешественницы до цели своей поездки часам к пяти дня. Дорога по лесу была тяжелая и трудная. Они раза два чуть было не опрокинулись с кибиткой, хотя почти все время ехали шагом.

Обитель стояла в самой глуши. Недалеко от нее протекала маленькая речка, вроде ручья. Там был устроен пруд из проточной воды. В обители было десятка два небольших домиков, а посередине возвышалось большое деревянное здание с высокими окнами и с крестом на крыше. Это – моленная. Постройки были обнесены высоким забором из горбылей.

Когда наши путешественницы подъехали к обители, ворота были заперты. Машура слезла с кибитки и постучала. Окошечко, вделанное в ворота, открылось; оттуда выглянуло лицо привратницы.

– Матушка духовница!.. Это вы?! – воскликнула привратница. – Сейчас, сейчас отопру!

Кибитка въехала в ворота.

– А где сестры? – спросила Таиса, – чтой-то у нас тихо очень, никого не видать?..

– На работах, – отвечала привратница. – Уборка там идет... Там и сестры и братцы хлеб убирают, косят и жнут. Я уж сама лошадь отпрягу.

Она села ла облучок кибитки и взяла у Таисы вожжи. Кибитка повернула по маленькому переулку к таисиному домику. Высадив Таису и Машуру, привратница погнала лошадь дальше, к скотному двору. Двор этот виднелся вдали, у са-

мого конца постройек.

– Ну вот мы и приехали, – сказала Таиса, входя в сени своего домика. – Вот тут и житье наше, – объявила она Машуре. Она отворила дверь в комнату с двумя окнами, чистую и уютную. – Смотри, пожалуйста, – радостно проговорила она, – какие наши сестры умницы!.. Полы у меня вымыли.

Скоро они уселись за самоварчик, который наспех соорудила Таиса. На столе появились баранки и мед. Началось чаепитие, а за чаепитием опять беседа о жизни божьих людей в основанном Ракеевым божьем питомнике.

– У нас, милая Машенька, уж так-то хорошо, – говорила Таиса своей крестнице, попивая чай, – Ты сама это увидишь, истинные божьи люди здесь живут... И пища у нас хорошая, и служба наша легкая и радостная... Такое бывает ликование!.. Сейчас только этой службы нет, потому что теперь рабочая пора... Уборка хлеба идет. Тут ведь у нас в лесу есть огнище, где хлеб сеют.

Машура с интересом слушала свою крестную и вместе с тем оглядывала новую для себя обстановку. У крестной все было, как у добрых людей: и комодик, и диванчик, и киот с образами стоял в углу комнаты.

– Наша обитель совсем от других скитов особенная, – продолжала поучать Таиса. – У нас в обители и мужской пол живет, а не один только женский... У некоторых наших сестер духовные мужья имеются... Мужья эти тоже нашей веры; они нам помогают, и мы их братьями зовем...

– Что же, крестная, – решила спросить Машура, – те, у которых духовные мужья, вместе с ними так в кельях и живут?

– Вместе и живут, – отвечала Таиса. – Ты этому не удивляйся, Машенька. Пойми, милая, что жизнь эта у нас совсем особая, не такая, как у вас в миру. Наша жизнь духовная, ангельская. Потому что у нас прежде всего человек приучается духовным быть...

– А у тебя духовный муж есть? – спросила Машура.

– У меня, Машенька, духовного мужа нет. Я себе такого не нашла. Его тоже, милая, найти надо. А вот уставщица наша, Ксения, которая правит службу на радениях, так та себе в мужья взяла старца Никифора, которого ты у Максима Васильевича видела, и он, Никифор, когда сюда приезжает, у ней ночует.

– Еще я хочу спросить тебя, крестная, – сказала в нерешительности после некоторого раздумья Машура. – У Максима Васильевича... У него тоже есть... Такая жена духовная?..

– У него жены нет, – со строгим выражением лица сказала духовница, – потому что он нас всех выше... То же и богородица наша Манефа; она надо всеми братцами и сестрицами начальница, и у ней мужа нет.

– Сколько же вас здесь сестриц и братцев? – продолжала расспрашивать Машура.

– А вот ты сама посчитай, – отвечала Таиса. – Перво-на-перво стариц таких, как я, у нас в обители десять. Потом ко-

торые с духовными мужьями живут, тех шесть, а остальные у нас девки молодые, вот как ты. Их двенадцать. Всех, стало быть с братцами в нашей обители более тридцати человек. Многие девицы, как я уже тебе говорила, после того, как их на духовную жизнь наладят, уходят в мир и там себе духовных мужей берут и нашу веру умножают. Корабль-то наш, что построил Максим Васильевич, делается все больше и больше. И тебе может такая судьба выйти нашему делу послужить. Ты будешь тогда, значит, вольная, – старалась втолковать Таиса эту мысль своей слушательнице. – А прежнюю греховную жизнь надо бросить...

– Да, хорошо, кабы меня выкупили! – со вздохом сказала, наконец, Машура. По всему видно было, что слова Таисы не проходили для нее бесследно. Таиса умела влиять на свою питомницу. Машура начала настраивать себя на новые мечты... Она начинала забывать своего барина.

## VI

К ночи, когда уже совсем стемнело, вернулись с работ сестрицы и братцы. Обитель населилась. Вернулись они на телегах, по несколько человек на каждой телеге. Огнище, на котором они убирали хлеб, было не близко. С ними вернулась и настоятельница. Она тоже была на работах.

Усталая и измученная после тяжелого пути, улеглась Машура на диванчик, стоявший в келии Таисы. Она хорошо

уснула эту ночь, спала крепко. Молодость и усталость взяли свое.

Разбудила Машуру Таиса довольно рано.

– Надо показаться начальнице, – говорила она, – а то она скоро опять с сестрами уедет на работу.

Напившись чаю, они пошли в домик Манефы, стоящий напротив моленной. Домик этот был побольше других и по-виднее, перед домиком был маленький палисадник с цветами.

Манефа их приветливо встретила. Это была женщина лет сорока, здоровая и румяная, с чисто русским лицом и с выразительными карими глазами. Она обласкала Машуру. – Погости, милая, у нас, – говорила она. – Жалко только, что теперь у нас собеседований нет. Да вот тебя духовница наша наставит. Наставления вам, девицам, очень нужны! Девуцы вы темные! Грамоте не знаете...

– Она грамотная, я ее учила, – отвечала за Машуру Таиса.

– Вот как!.. Ишь, какая умница! – сказала Манефа, ласково глядя на Машуру. – Большая редкость у нас, чтобы молодая девица, да грамоте умела...

– Она псалтырь может читать, только не бойко, по складам, – пояснила Таиса.

– Ну вот, миленькая, чтобы тебе было у нас занятие, – обратилась к Маше Манефа, – возьми почитать эти книги. – Она сняла с полки две книги в старых переплетах. – Это житие святого Ивана Тимофеевича Муромского, – сказала она,

указывая на одну книгу, – а это Книга Голубиная. На этих книгах и наладишься; потом бойко читать будешь.

Машура взяла обе книги и поцеловала руку настоятельницы.

– Да ты, духовница, – сказала Манефа Таисе, – чтобы девица-то не скучала, познакомь ее с нашими... Пускай вместе с ними поработает, нам пособит... Время теперь горячее... И на огороде много делов. Ну, Бог с вами, идите, родненькие, – отпустила их Манефа.

Машура, придя домой, сейчас же взялась за чтение. Она раскрыла житие Ивана Тимофеевича Муромского. Книга была рукописная, написана полууставом. Машуре книга не давалась.

– Не могу, крестная, разобрать, – сказала она духовнице. – Ты меня поучи.

– Ничего, натореешь, коли будешь стараться, – утешала ее Таиса, – а пока наладишься, я тебе житие это сама расскажу... Больно любопытно оно, житие-то! Иван Тимофеевич был христос совсем особенный... Это нашей веры христос был... Я уж тебе говорила, милая, что христос у нас не один... Разные христы были...

И Таиса принялась за рассказ о христе Иване Тимофеевиче, родившимся в Муромском уезде. Машура узнала от крестной, что Иван Тимофеевич жил давно, что он юродствовал и творил чудеса. Истинные христиане почитали его за второго христа, он мог выводить души из ада в царствие



небесное, помогал бедным и сирым, но на него было воздвигнуто гонение. Ивана Тимофеевича пытали на Лобном месте в Москве и, наконец, распяли на стене у Спасских ворот, идя в Кремль по левой стороне, где часовня. Когда Иван Тимофеевич, будучи распят, испустил дух по божественной воле своей, то снят был со стены сторожами и похоронен в Лобном месте в могиле со сводами. Погребение было в пятницу, а в субботу на воскресенье, как только начался благовест в Кремле в Успенском Соборе, Иван Тимофеевич воскрес при свидетелях и после того явился к своим ученикам в Муромском уезде, а потом опять в Москве, где он скончался плотию на сотом году жизни. И хотя он и был воплощенный Бог, но тело его было похоронено у церкви св. Николая в Драчах, откуда он вознесся в славе своей для соединения с Отцом Небесным...

Машура слушала с увлечением рассказ Таисы, широко раскрыв свои черные глаза, и, когда крестная говорила о вознесении Муромского Христа на небо, она понимала это вознесение по-своему. Она вспоминала о том, как она сама возносилась на поляне в отраднинском лесу; она знала, что значит вознестись к престолу Божию и какое это блаженство...

– Ну а Голубиная Книга, – спросила Машура после таисиного рассказа о Христе, – такая же хорошая?

– И это хорошая книга, – говорила духовница. – Да вот, для пробы почитай сама, – показала Таиса на страницу книги. – Книга печатная, ты разберешь...

Машура взялась читать указанную крестной страницу. Дело понемногу пошло, и она прочитала следующие стихи:

Кривда правду одолеть хочет.  
Правду кривда переспорила.  
Правда пошла на небеса,  
К самому Христу, царю небесному,  
А кривда пошла у нас по всей земле —  
По всей земле по святорусской.  
По всему народу христианскому.  
Кто будет кривдою жить,  
Тот отчаянный от Господа.  
А кто будет правдой жить,  
Тот причаянный ко Господу.  
Та душа наследует  
Себе Царствие небесное.

– Вот хорошо-то написано! – с восторгом воскликнула Машура, прочитав эти стихи.

## VII

Прошло несколько дней. Машура привыкла у крестной, начинала втягиваться в новую жизнь. Она принимала участие в полевых и других работах – в работах «во славу Божию», как говорила Таиса. Сама она была крепкая и сильная девушка и, по своей прежней деревенской жизни, приучена

матерью к физическому труду. Только за свое жительство на хуторе она избаловалась в праздности. Теперь же она стала отходить от этого баловства, сопряженного со скукой. Машура стала забывать о хуторской жизни за новыми охватившими ее впечатлениями. Все ей нравилось в общине. Ее товарки, молодые девушки, были не только с ней ласковы, но, видимо, старались ей угодить и услужить. Приветливо глядели на нее и старицы, и братцы. Последних было немного в общине – только пять человек. Молодых работников между ними не было; все были мужики на возрасте. И шло дело в общине, по-видимому, ладно. Обхождение между божьими людьми было дружелюбное; все они звали друг друга не иначе, как ласковыми, уменьшительными именами: Марьюшка, Васенька, Аннушка, Леночка, миленькая, родненький...

Радения, о которых говорила Таиса, еще не начинались. Это предстояло впереди, когда кончится рабочая пора. Теперь же по вечерам в трапезной после ужина (трапезная находилась в том же здании, где и моленная; только вход был с другого конца) божьи люди садились в кружок в углу под иконами и там пели, и пели они стройно. Запомнила Машура слова одной песни:

Просили мы тебя, Господи, дать нам Иисуса Христа.  
Просили дать Сына Божия, нас помиловать.  
И дал ты нам христа обретенного  
Христа в человеке рожденного...

Машура знала, о каком обретенном христе пели сестры. И она ждала скорее еще раз увидеть этого христа...

Приехал, наконец, из Виндреевки старик Афиноген, тот самый, который был возницей Таисы и Машуры при их путешествии из Отрадного. Приехал он с паникадилами для моленной. Паникадил этих уже давно ждали в обители. Афиноген привез также письмо от Максима Васильевича к настоятельнице Манефе. Ракеев писал к настоятельнице, что посылаемые паникадила он получил от московского благотворителя, богатого купца Бердникова, что такие же паникадила Бердников пожертвовал и для другого его божьего питомника. В этом же письме Максим Васильевич наказывал Манефе приехать к нему на большое моление, назначенное на воскресенье, и чтобы она взяла с собой уставщицу Ксению, духовницу Таису, брата Василия и трех девиц, в числе коих он упомянул и о Маше, таисиной родственнице. Писал наконец Ракеев, что если Маша не принята еще в обительский корабль, то пусть ей прием сделают теперь же, по надлежащем приготовлении, и возьмут с нее обет, как это полагается. Максим Васильевич заключил письмо своим благословением, посылаемым божьим людям общины.

Получив ракеевское послание, Манефа тотчас же позвала Таису, сообщила ей все касающееся Маши. Она поручила Таисе немедленно заняться Машей и приготовить ее к принятию в их истинную веру. Таиса сказала, что постарается это исполнить. Самое принятие было назначено Манефой в

пятницу.

Здесь надо сказать, что Таиса и до этого решения настоятельницы старалась всячески расположить Машуру к хлыстовскому верованию. Она делала все, чтобы возбудить в крестнице порыв к восторженному настроению – настроению, гармонирующему с хлыстовством, и она в этом успела, тем более, что Машура вообще была склонна к мистическим экстазам. И вот Таиса за время, что Машура у нее поселилась, добилась того, что крестница перед сном после вечерних молитв стала класть с ней перед иконой сначала по сто, а затем по двести земных поклонов, отсчитывая эти поклоны на четках, подаренных Максимом Васильевичем. Для Машуры эти поклоны получили даже свою прелесть. Ее стало увлекать это быстрое метание поклонов перед иконой, освещенной мерцающей лампадой, перед иконой, то исчезающей из глаз, то появляющейся перед молящейся. Кладя поклоны, Машура начинала как бы не чувствовать под собой ног, сердце ее усиленно билось. И при взглядах на икону ей чудилось что-то, словно оживающее в иконе, оживающее сквозь этот строгий темный лик, сквозь эти темные глаза. Машуре даже раз показалось, что эти строгие глаза заискрились особым блеском... Ей сделалось страшно – потом это видение исчезло.

Итак, Машура была уже достаточно подготовлена к экстазам. Теперь, когда Таиса после разговора с Манефой объявила крестнице, что она приглашена на «Великое моление»

к Максиму Васильевичу, сердце Машуры от волнения забилось. Ей было жутко и радостно сознавать, что она будет принимать участие в этом молении. С одной стороны, она как бы страшилась Максима Васильевича, он ей казался великим и неотразимым человеком, а с другой – она верила, что там у него она удостоится откровения. Ее тянуло к этому «христу обретенному». Ей чудилось, что скоро начнется для нее что-то новое, неизведанное...

– Какая ты счастливая, – говорила своей крестнице Таиса, принеся ей радостную весть о предстоящей поездке в Виндреевку. – Он сам тебя из многих выбрал... Но только вот что, милая Машенька, чтобы тебе быть у него, ты должна вперед принять на себя обет, дать, как положено, клятву... Тогда только тебя в наш корабль примут, и ты в Виндреевку поедешь... И это твое принятие назначено в пятницу в нашей моленной. Для этого там все будут в сборе, и ты должна приготовиться...

При этих словах лицо Машуры сделалось серьезно.

– Какие же это клятвы? – с тревогой спросила она.

– Да вот, Машенька, – отвечала Таиса, – клятва прежде всего такая, что коли ты принимаешь нашу веру, стало быть, тебе никогда от нее не отступить. Потом ты должна держать втайне от посторонних, что на наших радениях увидишь... И о всех наших порядках лишнего другим не болтать. И еще должна ты обещаться блюсти целомудрие, и если найдешь себе мужа, то только духовного, нашей же веры... Должна ты

сохранять себя в чистоте.

– А если я паду во грехе? – решительно и смело сказала Машура.

– Падение, милая моя Машенька, не есть еще большой таковой грех, коли ты со страстями своими борешься, – успокаивала крестницу Таиса. – Падение бывает и против воли нашей... Ведь без падения, Машенька, нет и покаяния, а без покаяния и спасения нет...

Кончились эти уговоры тем, что Таиса убедила Машуру начать готовиться к принятию ее в истинную веру. И надо сказать, что Машура готовилась старательно. Таиса читала ей, кроме молитв, акафисты, а после акафистов Машура с четками Максима Васильевича в руках усиленно клала свои земные поклоны.

## VIII

Настал день, в который должно было состояться принятие Машуры в святой «круг», как выразилась Таиса.

В этот день вечером, когда все уже вернулись с работ, уставщица Ксения со своими помощницами принялась за приготовление моленной. К иконам были подвешены новые паникадила, были зажжены лампы и свечи. В назначенный час раздались на паперти удары в «било». Так называлась в обители большая чугунная доска, висевшая на толстой перекладине, врубленной в стену моленной. И по этому благове-

сту начали собираться «божии люди» на службу, собираться на чин принятия в корабль посвящаемой девицы Марии.

Услыхав благовест, Таиса сказала Машуре: «Это наши собираются; подождем немного, пока все соберутся».

Машура в этот день была торжественно настроена. Она с Таисой в ее домике молилась очень усердно.

Наконец духовница сказала своей крестнице: «Теперь пора. Все собралось... Надо идти...»

Когда они вышли из домика, уже было темно. Таиса и Машура быстро шли по переулку к моленной. Машура увидела через окна, что внутри моленной было ярко освещено. Она сознавала, что это все для нее делалось. Она была сильно возбуждена.

Они вошли на паперть. Таиса открыла дверь.

– Входи, Машура, – сказала она. – Не бойся... Благодать Божия над нами.

Вступив в моленную, Машура увидела перед собой большую, длинную комнату. Противоположная стена комнаты была вся освещена рядом лампад, висевших перед верхними иконами. Перед нижними иконами были паникадила с массой зажженных свечей.

На правой стороне в углу моленной, на небольшом возвышении, восседала богородица Манефа. Она была одета в белую рубаху. Ноги были босые. Рубаха была подпоясана золотым поясом. В руке богородица держала большую восковую свечу. Направо от нее у стены, увешанной иконами, сто-



ял стол, покрытый белой скатертью. На столе лежал медный крест и еще белый сверток, перевязанный тесьмой.

По бокам моленной на длинных скамьях сидели сестры и братцы. Последних было немного. Они сидели на правой стороне ближе к Манефе. Остальные места занимали сестры. Все они, и мужчины и женщины, были одеты в длинные белые рубахи, что и у богородицы, но подпоясаны были не золотыми, а черными кушаками. Каждый из них держал в руках по зажженной восковой свече.

Когда Таиса ввела Машуру в моленную и остановилась посреди комнаты, присутствующие запели церковный стих «Приидите поклонимся». Напев этого стиха был тот же, что и в церквах. Люди божии пели его в унисон, тянули в одну ноту.

Но вот отделилась от правого ряда уставщица Ксения. Она взяла за руку Машуру и подвела ее к богородице. Таиса в это время отошла в сторону. Пение прекратилось. В моленной воцарилась полная тишина.

Богородица, взглянув на Машуру, торжественно обратилась к ней со словами:

– Зачем пришла ты к нам, в наш круг святой?

Машура, наученная Таисой, как ей себя вести, громко сказала:

– Я пришла сюда спасать свою душу.

Богородица проговорила:

– Хорошо душу спасать! А кого дашь за себя порукой?

Машура отвечала:

– Самого Христа, Царя Небесного.

Тогда богородица сказала:

– Смотри же, чтобы Христос от тебя поруган не был!

После этих возгласов богородица обратилась к уставщице с приказанием:

– Ксения, прочитай, какие девица Мария должна дать обеты.

Уставщица начала говорить эти обеты, а Машура повторяла их за ней слово за словом.

– Обещаюсь, – начала повторять за уставщицей Машура, – приняв святую веру, никогда от нее не отступить.

– Обещаюсь, когда буду причащаться и исповедоваться у священника, ему про нашу святую веру на исповеди ничего не говорить.

– Обещаюсь блюсти себя в чистоте, и если буду брать себе мужа, то только духовного; в законный же брак обещаюсь не вступать.

– Обещаюсь, если случится за свою веру пострадать, не бояться мне ни тюрьмы, ни ссылки, и никому не сказать, какое Божие дело будет мне открыто, ни отцу, ни матери, ни родным... А ежели Божия дела не сохраню, то да победит меня Господь в сем свете и в будущем веке.

Эти обеты Машура говорила без смущения. Таиса сумела приготовить свою крестницу. Видно было, что посвящаемая решила твердо отдаться новой жизни, что она нашла свою

веру.

По окончании провозглашения обетов богородица громко сказала Машуре:

– Во всем том, в чем ты обещалась, целуй крест Христов.

Машура подошла к столу, на котором лежал медный крест. Уставщица взяла его со стола и дала Машуре приложиться.

– А теперь, – сказала Манефа, – облеките сестру Марию в белые ризы.

Вышли вперед две женщины из числа присутствующих. Это были помощницы Ксении. Они взяли со стола белый сверток. Там оказалась приготовленная для Машуры белая широкая рубаха. Рубаху эту они надели на Машуру и подпоясали ее черным поясом. Во время этого облачения все присутствующие пели молитву Господню.

После того как Машура была облачена в новую одежду, Ксения повела ее вокруг всей залы. В это время «божьи люди» пели тропарь: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». Так Машура была обведена кругом залы три раза.

По окончании этого хождения Ксения с Машурой опять приблизились к богородице. Машура ей поклонилась земным поклоном, и та дала новообращенной поцеловать свою руку. Потом богородица осенила Машуру крестообразно своей зажженной свечой.

Этим и закончился чин посвящения Машуры в «истинную веру». После окончания церемонии все стали подходить

к Машуре, поздравлять ее и целовать. У всех были радостные лица. Божьи люди по этому случаю поздравляли друг друга, поздравляли с «новорожденной духом душой».

В особенности в этот радостный вечер ликовала Таиса. Ликовала она потому, что добилась своего. Она поставила, как она думала, свою крестницу на истинный путь. И она верила, что Максим Васильевич выкупит Машуру на волю. О том же, как ко всему этому отнесется мать Машуры Евфросинья, когда узнает, где устроилась Машура, Таиса не особенно беспокоилась. Ей дорого было одно – спасти душу своей крестницы. Что касается Машуры, то она была словно в чаду. Она была и радостна, и вместе с тем ей было как-то жутко...

## IX

Большое моление в доме Максима Васильевича Ракеева должно было состояться в воскресенье вечером. Наши хлыстовки решили отправиться в этот день в Виндреевку спозаранку. Они отпросились у Манефы ехать вперед других приглашенных. Им очень хотелось быть около Максима Васильевича, хотелось скорее прикоснуться к «обретенному христу». Машура за свое пребывание у Таисы много о нем думала, и то впечатление, которое на нее произвел «обретенный христос», выросло у Машуры в навязчивую о нем идею. На нее, конечно, здесь влияло всеобщее преклонение перед

Ракеевым, преклонение, которое чувствовалось в отзывах о нем лиц, окружавших Машуру.

Таиса с Машурой выехали из обители на той же лошадке и в той же кибитке, в которой они сделали свое первое путешествие из Отрадного. Как и в первую поездку, они двигались медленно, пробираясь по извилистой лесной дороге, и у них, как и тогда, начались разные разговоры – разговоры об истинной вере, о радениях и о том, что им предстояло увидеть в Виндреевке.

– Я у Максима Васильевича на его большом молении только и была, что один раз, – заговорила Таиса. – Такое моление у него бывает редко. Не больше, чем раз в году, и это совсем не то, что наши радения. У него, Машенька, чудеса разные происходят. А у нас, обыкновенно, что! сначала все духовное поют, потом разгорятся, начинают кружиться и скакать, а потом богородица, когда на нее дух накатит, пророчествует, каждому свое говорит...

– Что же она говорит? – спрашивала Машура.

– Разное, милая!.. Кому что выйдет. Да вот, последний раз она мне на радении изрекла: «Голубицей, – говорит, – ты полетишь, к нам девицу приманишь». Это она мне насчет тебя предсказала...

– А еще какие бывают пророчества? – допытывалась Машура.

– Интересные бывают... Не так давно она Максиму Васильевичу, когда он к нам приезжал, так спророчествовала:

«Изшел, – говорит, – от тебя святой дух и возвестит, – говорит, – дух святой по всей Вселенной, что ты бог над богами, царь над царями, пророк над пророками...»

– Ну а на молении у Максима Васильевича что происходит?..

– Большое моление, которое у него – это, милая Машенька, статья особая! Тут мы не кружимся и не скачем, а ходим тихо, как ангелы небесные, ходим кругом серебряной купели, взявшись за руки, и молим Бога о чуде... И вот в купели вода начинает играть...

– А Максим Васильевич с вами?

– Нет, он особо от нас под образами сидит.

– Ох, интересно, крестная!.. Расскажи мне все в подробности.

У Таисы вдруг сделалось очень серьезное лицо.

– Какая я грешная! – проговорила она, словно опомнившись. – И впрямь чуть было всего тебе не сказала, а ведь я клятву дала об этом молчать.

– Да ведь я своя, от меня скрывать нечего, – возражала Машура.

– Мало ли чего, своя! Это, милая, особое радение. Тут особую клятву берут. Да чего ты ко мне с этим пристаешь, – проговорила Таиса сердитым тоном. – Скоро сама увидишь...

Машуре пришлось замолчать, но не долго длилось молчание. Сегодня она была в особенно болтливом настроении и

не унималась с расспросами. Через некоторое времени она завела такой разговор:

– Остановимся-то мы сегодня у кого, крестная? – спросила она.

– Остановимся мы у Никифора, – отвечала Таиса, – у апостола ракеевского, который ксениин духовный муж. Ксения меня к нему звала. У него в Виндреевке есть домик. И девицы наши тоже, стало быть, к нему...

– Богородица где останавливается? – любопытствовала Машура.

– Та, надо полагать, у самого Максима Васильевича, – таинственно сказала духовница. – В последний раз, как было моление, так он после чудес ее к себе наверх позвал. Он с ней всю ночь молился. Она ведь праведница истинная...

Машура опять примолкла. Хотелось было ей еще узнать о Манефе, как и что, но она сдержалась расспрашивать. «Как еще вопросы эти крестная примет?..» Наши спутницы проехали версты две в молчании. Наконец Машура снова заговорила:

– Много нас, крестная, на этом молении будет?

– Да немного, Машенька, – отвечала та. – В прошлом году было всего человек тридцать. От нашей обители, стало быть, пять человек, да от другой обители, которая по другой стороне реки, тоже пять. И сегодня, думаю, будет не больше. Кроме того, будут евоные апостолы. Их, надо полагать, из ближних восемь придет.

Еще из виндреевских жителей будет несколько... Максиму Васильевичу ведь больше тридцати человек и не поместить. Моленная у него небольшая.

– Ты говоришь о другой его обители, – прервала Таису Машура, – а богородица там есть?

– В этой обители, Машенька, богородицы нет; там есть только пророчица. Маланьей ее зовут. У той святость еще небольшая. Не доросла она до благодати-то настоящей.

– Эта Маланья... – заговорила нерешительно опять Машура, – тоже... у Максима Васильевича останавливается?..

– Уж этого я не знаю, миленькая, – с серьезным лицом сказала Таиса. – Совсем не знаю... Говорят, он не любит к себе для остановки из обителей принимать. Ведь у него на дворе только один небольшой флигель, и он этот флигель для значительных людей бережет... Купцы к нему, разные благодетели из Москвы приезжают; во флигеле у него и гостят. Или вот в прошлом году у него сам исправник был. Максим Васильевич исправника-то с великой честью принимал. Тот очень доволен остался.

В Виндреевке, куда наши хлыстовки добрались в полдень к самому обеду, их встретил у ворот своего домика апостол Никифор. У Никифора в его маленьком домике в три окна было всего две комнаты. Одну комнатку он отвел Таисе с Машурой, а другую приготовил для своей духовной жены Ксении и для богородицы Манефы. Устроить Манефу в этом домике приказал Никифору сам Максим Васильевич. «Об-



ретенный христос» объявил своему ближайшему апостолу, что в нынешний съезд он после моления будет радеть не с Манефой, как это было в прошлом году, когда та осталась у него ночевать, а с другой избранной девицей, может быть, с Маланьей, а может быть, и с другой. Это уж как ему на молении благодать на сердце положит...

## Х

Никифор объявил Таисе, чтобы она шла к Максиму Васильевичу. Тот строго наказывал наведаться ей к нему по приезде.

Узнав это, Таиса заволновалась и обрадовалась. Она тотчас же отправилась на горку над речкой, где стоял ракеевский дом, отправилась к своему благодетелю Максиму Васильевичу.

В ракеевские покои она вошла, сопровождаемая служкой Мардарием, малым лет пятнадцати, юрким и бойким. «Сюда пожалуйста! Они здесь-с», – сказал Мардарий, вводя духовницу через знакомую ей приемную во внутренние комнаты. Мардарий подошел к затворенной двери и тихо постучался. «Войди!» – послышалось оттуда. Служка впустил Таису.

Ракеев сидел за большим столом и что-то писал, поскрипывая гусиным пером по бумаге. На носу у него были большие круглые очки в серебряной оправе. Дописав слово, Максим Васильевич поднял голову.

– Пожаловала к нам сама духовница, – сказал он дружески-любно Таисе. – Как живешь? Как спасаешься? – Он снял очки и положил их на стол. – Крестница-то твоя по моим четкам поклоны кладет? – спросил он, улыбаясь.

– Очень она молится, батюшка ты наш, – подобострастно отвечала Таиса, отвешивая низкий поклон. – Очень молится...

– А посвящение было? Обеты давала?

– Было, родимый, – с блаженной улыбкой сказала духовница. – В великом радовании торжество это прошло, и облачение ей было форменное при всем соборе. В чин ангельский она теперь произошла..

– Ладно ты это все распевашь, – сказал вдруг не без строгости в голосе Ракеев, – а вот как бы за это облачение нам от молодого Сухорукова не досталось...

– Разве ты знаешь? – опешила Таиса.

– Да, милая, Афиноген мне кое-что рассказал... Так вот, старица божия, – продолжал Ракеев, – ты мне и скажи, как нам с господами Сухоруковыми быть?

– Они за деньги ей вольную дадут, – проговорила Таиса.

– И ты думаешь, что молодой Сухоруков этакую девку, как твоя Маша, за деньги отпустит? С таким-то добром расстанется? Очень ты просто все это ладишь, милая, – сказал Ракеев с иронией.

Таиса спешила представить свои доводы.

– Они разорились, эти господа, – заговорила скоро Таи-

са. – Они совсем разорилась, батюшка ты наш, я заверное знаю... Им теперь не до Машеньки; имение у них, я слышала, с торгу берут... И окромя того, молодой барин сейчас больной лежит.

– Ох, милая! – покачивая недоверчиво головой, сказал Ракеев. – Будет он здоров, этот барин... Чую я, большая с Сухоруковым у нас будет возня.

– Для спасения души христианской надо, отец, постараться, – продолжала свое Таиса. – Ведь Маша теперь обительская жительница, ведь наша она стала... Надо ее непременно вызволить, милостивец!..

– Хорошо, хорошо!.. Что можно сделать – сделаю... Упрошу, коли удастся, московских благодетелей. Упрошу их дать деньжонок... – Он помолчал немного. – Ты вот что, святая душа, – сказал он повелительно, – ступай-ка сейчас домой, да пришли твою крестницу ко мне. Мне с ней нужно поговорить. Я ее малость поисповедаю... Вот мы потом и сообразим, что нам делать...

Таиса с глубоким поклоном вышла от Ракеева. Вышла она радостная, в надежде, что все устроится... Она поспешила передать Машуре приглашение Максима Васильевича.

Вскоре после ухода Таисы в ту же комнату к Ракееву была введена Машура. Молодая девушка остановилась в дверях. Она была бледна; глаза были опущены.

– Видишь, вышло по-моему, Машенька, – сказал Ракеев, встречая приветливо Машуру. – Сама видишь... ты теперь

стала наша...

– Я Господу Богу об этом молилась, – тихо проговорила Машура, не поднимая глаз.

– Бог нам и помог, – с той же лаской в голосе продолжал Ракеев. Говоря это, он не отрывал пристального своего взора от благоговеющей перед ним девушки.

– Теперь мы с тобой новую жизнь начнем. Во Христе будем пребывать. Я тебе за отца буду, – многозначительно сказал Ракеев. Он близко подошел к Машуре, погладил ее голову по волосам и проговорил: – Я дело не малое надумал, Машенька... Решил я, милая, тебя у твоих господ выкупить... Ты будешь вольная...

Машура в бессознательном порыве взглянула восторженно на Ракеева, и ей показалось, что глаза его словно сияют... Он почудился ей светлым; он почудился ей сразу как бы похожим на Христа, на того Христа, как этот лик она видала на иконах в отраднинском храме. Машура схватила ласкающую ее белую руку и прильнула к ней своими горячими губами...

– Хорошая ты девка, – сказал Ракеев, не отрывая руки от ее поцелуя. – Этот твой порыв дорого стоит. Я его не забуду. – Он отошел от Машуры и сел за свой большой стол. Провел рукой по голове, точно хотел очнуться от охватившего его волнения. Через несколько секунд выражение его лица изменилось. У него скользнула неприятная улыбка.

– Надо, стало быть, думать, – вдруг жестко сказал Максим Васильевич, – что ты своего молодого барина не горячее

этого целовала...

Лицо Машуры выразило страдание.

– Там грех был, – сказала она со слезами. – Подневольная я была... Мать меня заставляла... – При этих словах Машура горько заплакала...

– Ну, не смущайся... Бог с тобой!.. – начал говорить Ракеев, приняв прежнее доброе выражение. – Не смущайся, девица! Что было, то прошло, и да простит тебя Господь. Грех этот я с тебя снимаю. Слышишь? Совсем снимаю... И барина своего ты забудешь, – сказал он властно.

Потом он продолжал тихим голосом: – Я таких девушек, как ты, которые грешили, больше люблю... Больше я их почитаю, чем праведниц-то горделивых... У согрешившей смирение есть... а те, дуры, из-за своей невинности прямо в рай желают попасть... Желают попасть, не согрешивши... Стало быть, ты в том, что было, себя очень не вини...

Машура перестала плакать. Но все-таки ей было тяжело и больно. Сердце ее билось.

– Ну, ну, родненькая, не горюй, – успокаивал ее Ракеев. Он подошел опять близко к молодой девушке и стал ее опять гладить по волосам, упорно глядя на нее своими блестящими глазами. – Христос с тобой, Машенька! Я тебе за отца буду... Он дал Машуре опять поцеловать свою руку. – Иди, иди домой... Иди с миром. Мы на большом молении с тобой увидимся. Машура ушла успокоенная.

## ХІ

Часов в пять вечера апостол Никифор, который только что устроил в своем домике приехавших в Виндреевку богородицу Манефу и свою духовную жену Ксению, поспешил прийти в моленную Максима Васильевича. На Никифора были возложены главные распоряжения по предстоящему большому молению; в приготовлениях ему помогали двое божьих людей из числа лиц, приглашенных на торжество.

Ракеевская моленная, как мы уже упоминали выше, помещалась внизу, в первом этаже дома. Ее окна выходили на двор. Рядом с моленной окнами на улицу были расположены две большие комнаты. Одна предназначалась для мужчин, другая – для женщин. Эти комнаты служили, чтобы божьи люди могли перед радением переоблачиться в «светлые ризы», то есть в белые длинные рубахи, и могли бы снять свою обувь и вымыть ноги. В моленную они должны были вступить уже в светлых одеяниях и босые. Для сегодняшнего дня ставни этих комнат, а также ставни моленной были затворены и укреплены болтами. Никто снаружи не должен был видеть, что будет происходить в первом этаже ракеевского дома. Никифор, когда стало темнеть, отрядил даже служку Мардария в качестве дозорного оберегать дом, чтобы никто из любопытных не мог подглядеть, что делается внутри.

Приготовления Никифора начались с того, что он со сво-

ими помощниками отправился в кладовую Максима Васильевича. Там они нашли хранившуюся в особом помещении большую высеребренную купель, похожую на те, которые употребляют в церквях при крещении младенцев. Купель эта была перенесена Никифором в моленную. Ее поставили посреди комнаты, укрепили в полу, и в нее была налита вода. В верхние борта купели были привинчены четыре коротких посеребренных подсвечника. В подсвечники Никифор вставил толстые восковые свечи и дал им обгореть. Это достаточно осветило всю моленную. Особенно ярко была освещена купель и налитая в нее вода.

Моленная представляла из себя комнату аршин в двенадцать ширины и несколько большую по длине. В правом углу моленной (от входа) были расположены иконы. Весь этот угол был ими увешан очень богато. Иконы были старинные, в серебряных ризах. Перед ними висела большая лампада красивой московской работы, украшенная сквозными разноцветными камнями. Когда Никифор заправил эту лампаду и погасил обгоревшие на купели свечи, в комнате воцарился таинственный полусвет. Мы должны еще сказать, что раньше принесения купели под самыми иконами было поставлено особое большое кресло. Оно предназначалось для Максима Васильевича. Во время моления он будет на этом кресле сидеть спиной к иконам и лицом к освещенной купели.

После захода солнца, когда стало темнеть, начали соби-

раться божьи люди к Ракееву на моление. Войдя в ворота, они проходили в нижние комнаты дома со двора по отдельному входу. Никифор приказал к этому времени осветить восковыми свечами эти комнаты; там божьи люди должны будут переоблачаться. Всех приглашенных собралось к ночи пятнадцать братьев и пятнадцать сестер. Духовные христиане готовились там к молению. Они ждали, когда Никифор засветит купель и позовет их в моленную.

Наконец, по зову Никифора, моленная стала наполняться. Приглашенные, переодетые в «белые ризы», чинно входили в комнату, клали перед иконами поклоны и рассаживались на лавках, расположенных по стенам моленной. Рассаживались они попеременно, мужчины и женщины. По правую руку от места, приготовленного для Ракеева, села богородица Манефа. Она вошла в моленную насупленная и казалась в дурном настроении. Из слов Никифора она поняла, что Ракеев ее не пригласит к себе на ночное радение, как это было в прошлом году. Совершенно иначе выглядела другая хлыстовская пророчица, Маланья, которая была начальницей во второй ракеевской обители. Улыбка играла на ее лице. Это была еще молодая женщина с нервными глазами, худенькая, небольшого роста. Лицо ее было миловидно. Она села по левую сторону от того места, которое было приготовлено для Ракеева.



## ХII

Вошла в моленную и наша Машура. Она вошла с Таисой и хотела с ней усесться, но Никифор указал Машуре место в самом конце от почетного угла моленной, ибо Машура была младшей из всех собравшихся. Никифор посадил ее рядом с братцем Василием, приехавшим на моление из их же обители. Этого Василия Машура успела узнать за свое краткое пребывание у Таисы. Она проработала с ним несколько дней на общественном огороде. Василий, мужик уже на возрасте, участвовал в прошлом году на большом молении у Ракеева. Машура была рада, что ее с ним посадили.

С интересом и благоговением оглядывала Машура все, что ее сейчас окружало. Эти сидящие по стенам строгие лица в светлых одеяниях, эти блестящие в серебряных ризах иконы, эта освещенная четырьмя большими свечами купель, стоящая перед ней, наконец, эта тишина и благолепие – все это уносило Машуру в какой-то иной мир, столь отличный от повседневных впечатлений.

Скоро в дверях показался сам Ракеев. Он тоже был в белой длинной рубахе и босой. Когда он вошел, все встали. Он помолился на иконы и медленно прошел к своему месту под образа. С его входом все запели Молитву Господню. После пения Максим Васильевич, а за ним и все остальные уселись на свои места. Воцарилась полная тишина.

Ракеев встал со своего места, торжественно оглядел всех и громко сказал:

– Чада мои духовные! Сей воскресный день избрал я для великого нашего радения. Но прежде радения примем обет сохранить в строгой тайне, что Господь Бог явит нам сегодня по великой милости своей. Никифор! – обратился он к своему апостолу. – Возгласи клятвенное обещание, которое за тобой будут повторять все, здесь присутствующие.

Сказав это, Ракеев сел на свое место.

Тогда встал Никифор, а за ним встали все божьи люди. Никифор начал говорить, и все стали за ним повторять такую клятву:

«Обещаемся не сказать никому, что Господь Бог, по благодати своей, явит сегодня нам, избранным Его. И если, по чьему-либо вражьему навету, нас будут в это допытывать попы и допрашивать чиновники на суде, если даже кнутом будут бить, огнем жечь – все это претерпеть – только святого дела нашего не выдавать».

После произнесения этих слов все начали подходить к Ракееву, чтобы приложиться ко кресту, который Максим Васильевич взял в руки со стоявшего около него аналая. Он давал каждому целовать крест.

В конце всех подходов к кресту стала приближаться к Максиму Васильевичу и Машура. Она не могла оторвать своих темных блестящих глаз от фигуры одетого в белое «обретенного Христа». С волнением она подошла к нему, с вол-

нением поцеловала крест и белую руку «христа». И ей показалось, что он чуть заметно ей улыбнулся, ласково на нее глядя. Машура вся просияла от этой улыбки. Она была счастлива.

Когда прикладывание ко кресту было кончено и все расположились на своих местах, Максим Васильевич сказал:

– Возлюбленные дети мои! Приступим с благоговением к великому нашему молению. Возьмите друг друга за руки, станьте вокруг купели и молитесь Господа Бога о ниспослании чуда, о ниспослании движения воды в нашей святой купели. Молитесь и пойте псалом, который я вам дал. Я же буду у икон Божиих возноситься в помыслах моих к Отцу моему небесному... – он сел в свое кресло и склонил голову на грудь. Уста его шептали молитву. Через несколько секунд движение его губ прекратилось. Максим Васильевич закрыл глаза и казался как бы погруженным в сон...

Божии люди взяли друг друга за руки, и весь этот тесный круг молящихся двинулся тихо кругом купели. Апостолы и старицы, которые бывали на таких молениях раньше и знали его порядок, торжественно запели «стих», сочиненный для этого самим Ракеевым. Стих был коротенький, и они повторяли его несколько раз. К пению апостолов и стариц присоединились потом и все остальные, в том числе и наша Машура.

Слова молитвенных стихов были следующие:

Не струнушка золотая с неба заиграла.  
То душа наша огнем горит!  
Огнем ярким разгорается.  
Пошли, Господи, нам явление!  
Пошли, Господи, чудо чудное!  
Пошли, Господи, свое знамение!  
Закипи во купели, святая вода,  
Освятись ты, вода, духом Божиим!..

С этим не прекращающимся тихим пением и хождением вокруг купели стали действительно разгораться сердца участвующих. Все жаждали чуда, все не отрывали своих взоров от ярко освещенной воды. И вот вдруг первая, вне себя, закричала Маланья:

– Вижу, вижу! Кипит, кипит!.. Господи, спаси нас и помилуй!..

Тогда увидали все, и Машура со всеми, что вода в купели стала приходить в движение. Машура видела, что это движение усиливается, что вода будто даже забурлила. Ей сделалось жутко...

– Тушите свечи! – неожиданно для всех громко сказал Никифор. Кто-то исполнил приказание, и комната погрузилась в полумрак, освещенная лампадой перед иконами. Пение и хождение прекратилось. Все остановились, держа друг друга крепко за руки.

От своего как бы забытья очнулся вдруг сидевший под об-

рами Максим Васильевич. Среди всеобщей тишины раздался его голос: «Пошли, Господи, великое чудо твое, яви нам твое знамение!»

И вот Машура увидела нечто, еще более ее поразившее. В воздухе показался огонек. Он словно проскользнул змейкой над купелью, потом другой, третий... Наконец под самым потолком показалась звездочка; она продержалась несколько мгновений в воздухе и упала в воду купели...

– Молитесь все о великом чуде, – сказал торжественно Ракеев, – и Бог пошлет его нам. Смотрите, смотрите, – заговорил он вдруг быстро, будучи сам в большом волнении. – Над купелью сам агнец Божий.

И все увидали, что над купелью стало материализоваться светлое облако и на нем как бы очертание лежащего младенца...

При этом явлении всеобщий экстаз дошел до высшего напряжения. Многие закричали: «Христос! Христос!» Некоторые плакали от охватившего их восторга... Раздались нервные вскрикивания. Участвовавшие, вне себя, не могли уже держать за руки друг друга. Круг распался... Все спуталось. Машуру кто-то схватил за плечи и стал обнимать. Она невольно оттолкнула эту чужую охватившую ее руку. Видение агнца длилось какую-нибудь минуту и исчезло. Машура начала приходить в себя. Около нее совсем близко стоял незнакомый ей братец из маланьиной обители. Он поминутно крестился и говорил Машуре: «Видела, девица, чудо?..

Видела милость Божию?.. Бери, девица, из купели воду святую... Бери на пользу себе... Попроси у Никифора бутылочку... он тебе даст». Машура догадалась, что это он, незнакомый ей братец, схватил ее за плечи и обнял. Между тем общий шум продолжался; порядок моления был нарушен.

Среди всеобщего говора раздался громкий голос Ракеева.

– Слабые вы люди! – сказал он с укоризной, обращаясь ко всем присутствовавшим. – Сегодня вы удостоились бы больших чудес, если бы в вас было меньше греха и была бы сила духовная, не кричали бы вы и не шумели и святого круга не нарушили, если бы вы вели себя с тихим хождением...

Шум прекратился. Но все чувствовали, что общее настроение, с которым началось сегодняшнее моление, было уже потеряно, что трудно было к нему вернуться.

– Смиряйтесь, божи люди, – продолжал тем же строгим тоном Максим Васильевич, – и очищайтесь от грехов, дабы на следующее моление оказаться вам истинно достойными чудес господних... А теперь идите по домам и дома помолитесь о грехах своих. Завтра приходите ко мне за святой водой. Я буду ее раздавать, кому нужно. Ракеев поднялся со своего места, облобызался троекратно с Манефой и Маланьей и направился к выходу. Все кинулись к нему, желая подойти поближе, старались захватить его, пока он еще не ушел, стремились к нему прикоснуться... И он на каждого налагал свою руку и давал каждому целовать ее.

### ХІІІ

Когда к Ракееву подошла за благословением Машура, счастливая, что может еще раз его близко увидеть, он вдруг остановился против нее и торжественно ей сказал:

– Я зову тебя, новообращенная Мария, в эту ночь к себе для моления. Такова над тобой особая милость Божия. Иди за мной...

Затем Ракеев благословил еще некоторых, к нему пробившихся, и вышел из моленной. Машура была сама не своя от счастья; вся сияющая, она следовала за «христом»... Они прошли по узкому слабо освещенному коридору и очутились на входной лестнице, ведущей наверх. Лестница была освещена фонариком, висевшим на стене.

Вошедши к себе в переднюю и дав войти за собой Машуре, Ракеев плотно притворил дверь. Машура вступила затем в знакомую уже ей приемную, где теперь горел яркий свет от лампы перед образом Нерукотворного Спаса.

– Вот здесь, – сказал Максим Васильевич своей спутнице, – будет твоя комната... Вот и икона перед тобой... Хорошая икона! Перед ней молиться хорошо. А вот тебе и диванчик, чтобы отдохнуть, когда прилечь захочешь... Садись, Машенька, здесь мы с тобой побеседуем.

Он сел на диван. Машура продолжала стоять перед ним, радостная, с блаженной улыбкой на устах. Но ей было все-та-

ки как-то жутко, глаза ее были опущены. – Садись, миленькая, – говорил Ракеев. – Приди в себя, девица... Успокойся...

Он смотрел на нее пристально. Наконец Машура решилась сесть.

– Я много о тебе думал сегодня, – заговорил Ракеев, – и ты не удивляйся. Даже сейчас вот, во время самих чудес, о тебе думал... И не нашуми они, глупые, я бы на тебя, мою голубицу, великое блаженство низвел... И почувствовала бы ты это небесное радование в себе самой и почувствовала бы ты в себе Господа Бога... И все другие возрадовались бы сердцем, но они не доросли еще до благодати истинной, помешали они мне...

– Очень страшно было от агнца, – заговорила наконец Машура, решившись взглянуть в глаза Максиму Васильевичу. – Я чуть было ума не решилась от чуда такого...

– То ли ты еще увидишь, Машенька, – заговорил Ракеев. – То ли ты увидишь, когда на тебя низойдут откровения великие, когда в тебе будут родиться мысли солнцезобразные и премудрые, когда найдет на тебя любовь серафимская, от которой огненные крылья вырастают!.. И бывает при этой любви посол к человеку от Бога тайный, по Его особенному избранию. И я приведу тебя в это небо превысшее, и будешь ты чувствовать, Машенька, что, кроме тебя и Вселенной, нет ничего... И я знаю, что в тебе сила на это есть... Вспомни, как ты на поляне возносила...



– Ты знаешь? – вне себя от удивления воскликнула Машура. – Ты знаешь?

– Все я знаю, Машенька, и мысли твои я знаю... И что ты в меня, Христа, уверовала, и это знаю...

– Да, ты Христос! – сказала восторженно Машура. Она схватила его руку и прильнула к ней в охватившем ее экстазе.

– Мир тебе, Мария, мир сердцу твоему, – говорил Ракеев. – Молись вот Ему, – указал он на икону. – Тот выше меня был... Это Он меня к своему лику приобщил. Это Он меня своим братом соделал... И вот мы с тобой сейчас вместе ему помолимся, и мы сейчас положим перед Его иконой по триста поклонов...

Они стали рядом на молитву и начали класть поклоны. Машура отдалась этому «деланию» с увлечением, на которое только была способна. Никакой усталости она не чувствовала; сердце ее билось и замирало. Ей казалось, что она действительно возносится на небо...

Наконец Ракеев прервал эти поклоны. – Довольно! – проговорил он. – Мы свое положили. – Машура точно проснулась от очарования.

– Пойдем теперь в мою опочивальню, – сказал он неожиданно для Машуры. Он взял ее за руку. – Пойдем туда, в мою обитель... Я в духе сегодня... Сегодня я с тобой спать вместе буду...

Машура широко раскрыла глаза, пораженная.

– Сегодня я в духе, – повторил Ракеев. – Человеческая

плоть во мне умерла... Во мне плоть божия!.. Слышишь ли, божия!.. – Он смотрел на Машуру пристальным гипнотизирующим взглядом. Он взял ее за плечи и притянул к себе. Машура не сопротивлялась.

– Если я тебя зову, – говорил страстно Ракеев, обнимая ее, – то это потому, что сознаю в тебе дух Божий... И я дам тебе серафимовскую любовь... И огненные крылья тебе дам, и будет кипеть радость и сладость во внутренности твоей, и будет в тебе смирение и кротость, как у ангела небесного, – продолжал говорить Ракеев, увлекая ее за собой. – Я тебя на святое дело зову, – твердил он. – А кто в грешной человеческой страсти разгорается, как бывает у обыкновенных людей, тогда рождается у него ярость и злоба... И грешные люди даже друг друга ненавидят от похоти человеческой.

Говоря это, Ракеев сжимал крепко свою «голубицу». И вот она... пошла за ним, пошла на то, на что он звал ее...

Так совершилось падение Машуры, желавшей спасти свою душу, падение вовлеченной в хлыстовство девушки, обольщенной хлыстовским пророком Ракеевым.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## I

С тех пор, как мы оставили Сухорукова на попечении его верного слуги Захара и уездного доктора, который продолжал изредка приезжать в Отрадное, положение больного не изменилось к лучшему. Правда, он мог теперь немного двигаться на костылях, мог с помощью Захара выезжать для прогулок в коляске, но разве для него это была жизнь – для него, недавно еще полного молодой энергии, а теперь связанного по рукам и ногам. Захар старался всячески развлекать своего барина: то он возил его на огороженный луг, где паслись заводские матки, то заставлял конюхов выводить барину на показ любимых коней и жеребят, то ездил с Василием Алексеевичем на гумно, где кипела работа по возке хлеба и вырастали гигантские скирды. Но Василия Алексеевича все это не тешило. Он скоро прекратил эти прогулки.

Первые дни своей болезни Сухоруков, как мы знаем, жил вспыхнувшим у него воспоминанием о матери, жил надеждой, что она, только что совершившая чудо избавления его от безумной отцовской затеи, совершит еще и второе чудо – избавит его от охватившего недуга, недуга странного и непонятного, в котором уездный доктор разобраться совсем не

мог. Вот-вот, верилось Сухорукову, не сегодня-завтра она опять явится во сне, прикоснется к нему, и он проснется здоровый и жизнерадостный, но... дни проходили, а мать не являлась. Второго чуда не было. Дни тянулись мучительно и уныло. Лечение докторское не помогало. Болезнь, по-видимому, укреплялась.

Сухоруков большую часть своего времени сидел у открытого окна и тоскливо смотрел на наскучивший ему отраднинский парк, на эту надоевшую ему аллею. Он уныло глядел на небо и на бегущие облака, напоминавшие ему, что есть где-то свобода, что у других счастливых дни несутся светло и красиво, как несутся по небу эти облака, эти воздушные замки, непрестанно изменяющие свои причудливые очертания.

Из сухоруковских соседей, которые раньше частенько навещались в Отрадное, никто за последнее время не навещал Сухорукова. С укрепившимися слухами о том, что имение Сухоруковых назначено в продажу, что отраднинские господа разорились и будут изгнаны из своего гнезда, приезд разных гостей в Отрадное прекратился. Впрочем, Василий Алексеевич о гостях и не думал. Не до того ему было.

Некоторым утешением и забвением в положении больного служило Василию Алексеевичу чтение книг. В Отрадном была недурная библиотека. Старик Сухоруков не жалел денег на выписку книжных новостей и журналов русских и французских. Василий Алексеевич любил изящную словес-

ность. Еще офицером он перечитал всего Шиллера, Шекспира, Данте. Он увлекался Пушкиным, который тогда гремел повсюду и которого все оплакивали после его несчастной дуэли с Дантесом. Увлекался Сухоруков и другой восходившей тогда звездой – Лермонтовым. Последнего Василий Алексеевич знал лично. Он был товарищем Лермонтова по московскому университетскому пансиону.

Итак, утешением для Василия Алексеевича было чтение книг. Пересмотрев в один из своих тоскливых дней полученные недавно в Отрадном журналы и книги, Василий Алексеевич остановился на тогдашнем «Современнике», основанном Пушкиным. В «Современнике» он как раз нашел только что вышедшие стихотворения Лермонтова «Бородино» и «Казначейша». И вот Василий Алексеевич принялся за чтение лермонтовских стихов. Он несколько забылся за этим занятием. Лермонтов силой своего таланта стал выбивать Сухорукова из его настроения.

Великое дело молодость и сила таланта! Удивительно было видеть теперь, как Сухоруков под лермонтовским гипнозом, под гипнозом «Казначейши», этой веселой, шутливой поэмы, по существу весьма легкомысленной, забыл о болезни, оборвавшей его светлую жизнь. Да! Несмотря на ужасное положение, в котором находился Сухоруков, улыбка начала играть на его лице, когда он читал «Казначейшу». Он забыл свое горе за чтением талантливой шутки. Сила молодости в Сухорукове проснулась. А между тем, что такое был Су-

хоруков? Ведь это был несчастный, беспомощный человек. Без камердинера Захара и его помощника Матвея Василий Алексеевич ничего сейчас не мог делать – не мог подняться с постели, не мог стать на костыли, не мог пересест с одного кресла на другое. Захар и Матвей не без труда одевали и раздевали барина, Захар кормил его, как ребенка, резал ему мясо на кусочки, и тот понемногу привыкал есть с помощью левой руки, оставшейся не парализованной, на великое счастье Василия Алексеевича.

Недолго пришлось Сухорукову отдаваться увлекшему его чтению лермонтовских шуточных картин. Иллюзии эти были прерваны Захаром, вошедшим в комнату.

– Там в передней мать Машуры Евфросинья к вам дожидается, – угрюмо проговорил старый слуга. – Она горюет насчет своей дочки. Жалуется, что о ней нет ни слуху, ни духу. Больше месяца, как вы ее отпустили...

Сухоруков оторвался от чтения. Сначала он даже не понял, что Захар ему докладывал, и заставил повторить сказанное.

Поняв наконец, в чем дело, Сухоруков сделался опять серьезен и уныл. Что они к нему пристают?! И что ему теперь Машура! Машура – это одна из многих, которые ему надоели. Машура была для Сухорукова только забавой... Он без особенного труда ее отпустил, отпустил в неизвестные ему чернолуцкие леса и совсем забыл о ней.

– Ты говоришь, Евфросинья пришла? – сказал Сухоруков

Захару. – Что ж! Пускай войдет, – промолвил он уныло.

Вошла Евфросинья.

– Что скажешь? – обратился к ней Василий Алексеевич. – Давно я тебя не видал...

– Сиротой живу, кормилец, – отвечала жалостливым тоном старуха. – Машуры моей все нету... И подумать что, не знаю... Вчера странник Никитка так об ней меня настрашал! Так настрашал!

– Да разве он вернулся из Киева?

– Вернулся, батюшка, вернулся... Третьего дня вернулся. У нас в сторожке опять живет.

– Чем же Никитка тебя напугал?

– Говорит, что напрасно мы Машуру к Таисе отпустили... Такие страсти он про эти чернолуцкие скиты рассказывает, такое худое говорит про их тамошнего заправилу Ракеева... Говорит, темные там люди живут... не то, что раскольники...

Сухоруков тоже вспомнил, что и Машура ему под секретом говорила о каком-то новоявленном пророке Ракееве. «Однако все это надо разузнать», – подумалось ему. – Ну что ж!.. Пошли мне завтра Никитку, – сказал Евфросинье Василий Алексеевич. – Я с ним сам поговорю.

Евфросинья ушла. Видно было, что она очень встревожена и в большом горе.

Привезли в Отрадное почту. Сухоруков ждал писем из Петербурга. Уже более месяца, как отец уехал, а от него все не было известий. Наконец сегодня в привезенных газетах

Василий Алексеевич нашел ожидаемое известие. Он вскрыл конверт – письмо было от отца, и вот что Сухоруков там прочитал:

«Дорогой дружок Васенька, пишу тебе из Москвы, куда я только что перебрался после петербургских хлопот. В Питере я пробыл целый месяц, обделал там все дела. Окончилось все благополучнейшим образом. С великой радостью сообщаю тебе, что мы можем быть совеем спокойны. Скажу тебе откровенно: до сих пор не могу опомниться от этого наследства. Подумай, Васенька, что бы мы с тобой были без него!

Москва меня задерживает из-за покупок. Приеду в Отрадное недели через две. Надеюсь, что ты уже поправился и что мы с тобой в эту осень недурно поохотимся.

В Петербурге жилось превосходно. Был я и в обществе. Оно все на дачах. Кое-кого навестил из старых товарищей по полку. Все они теперь большие люди. Со мной обошлись недурно, соболезнование о брате высказывали, хотя, правду сказать, имеются между ними порядочные-таки скоты по своей надменности. Вот новость! Представь себе, Аркаша Дурнакин – ты его знаешь, он у нас в Отрадном гащивал, когда-то он у меня в эскадроне юнкером служил, – так представь себе, этот самый Дурнакин назначен в Чернолуцк губернатором. Он женился на княжне Стародубской и приобрел большие связи... Ловкий человек! Сам он в полном восторге. Мы с ним



по случаю его назначения кутнули. Он хороший малый. Удача его не испортила.

Да, вот еще... Пишу тебе самое для тебя приятное: видел твоего бога, твоего товарища, самого Лермонтова. Видел я его у княгини Анны Сергеевны; она в Царском живет. В северную Пальмиру из Москвы переехала, женихов для дочерей между офицерами ловит. Лермонтов в Петербурге в большом ходу. О нем только и разговору после того, как за стихи его высылали на Кавказ. Он теперь опять вернулся и сейчас самый модный человек, столичных дам с ума сводит, хотя я не понимаю, с чего ему так везет. Сам он некрасив – лобастый, и ноги у него кривые. В гостиной у Анны Сергеевны он сидел довольно важно, и барышни его окружали, но когда он узнал от меня, что я твой отец, – весь словно ожил. Все о тебе вспоминал-вспоминал, как ты офицером к ним в полк в Царское приезжал, как ты хорошо на гитаре играл, как вы с цыганами кутили. Приказал тебе кланяться, звал опять в Царское приехать. Я обещал тебя прислать, когда ты поправишься.

Из Москвы, дорогой Васенька, приеду домой не с пустыми руками. Приведу, милый мой, пару рысистых жеребцов; купил у Дубовицких за четыре тысячи... Очень хороши! Потом привезу большой орган для нашей залы. Удивительная машина! Играет оперы. Она вроде той, что в Москве у Гурьева стоит. Еще везу бронзу старинную. Ты знаешь – я до бронзы большой охотник... И еще много всякой дряни для моих девиц.

Ну прощай, Василий! Обнимаю тебя.  
Сердечно любящий тебя отец Алексей Сухоруков».

От этого отцовского письма наш Василий Алексеевич опять словно повеселел.

«Развернулся отец! – подумал он, прочтя письмо. – Точно не старик пишет, а молодой повеса... Широким размахом от него повеяло... Тут все есть – и о лошадях позаботился, полюбовницах, и о бронзе... Сколько у него желаний!.. Мы с отцом ролями поменялись – стариком, видно, я сделаться хочу». Сухоруков еще раз со вниманием перечитал письмо. – «А Лермонтов-то, Лермонтов!.. Ведь это словно нарочно для сегодняшнего дня я его „Казначейшу“ начал читать... Лермонтов помнит обо мне! К себе зовет!.. И правду сказать, он всегда меня отличал... Отличал за мою живость, за мою веселость... „Крови в тебе много, Сухоруков“, – говорил он и заслушивался, бывало, как мы со Стешей соловьями у них в полку заливались»...

Сухоруков замечтался о Лермонтове, замечтался в воспоминаниях о своих отношениях к этому человеку.

«Однако надо дочитать „Казначейшу“», – мелькнуло в голове Сухорукова, когда воспоминания о Лермонтове и кутежах в Царском Селе были исчерпаны. Взгляд Сухорукова упал на недочитанный «Современник», лежавший перед ним на столе. И вот он опять взял книгу и уткнулся в нее. Опять он забылся за чтением лермонтовских стихов. Опять улыбка заиграла на исхудалом лице больного.

## II

На другой день утром в комнату к Василию Алексеевичу была допущена Захаром Евфросинья. Она вошла не одна, а в сопровождении странника. Никитка был все тот же, как мы его видели раньше, – всклокоченный и грязный. Вошедши, он, как это всегда бывало, начал креститься на икону, потом положил свои поклоны. Проделав все это, он устался на Василия Алексеевича и покачал головой.

– Эх тебя, барин, скрючило! – сказал он со вздохом. – И с чего это болеть такая? – Он полез в карман и вынул оттуда небольшой бумажный сверток. – Вот тебе просвира печерская! Из Киева тебе привез, – объявил он торжественно, вынимая из бумаги просвиру и кладя ее на стол перед Сухоруковым. – Ешь во спасение, – проговорил он с поклоном.

– Спасибо, Никитка, спасибо! – сказал Сухоруков. – Рад тебя видеть. Ты вот что мне скажи, – приступил он прямо к делу. – Чем это ты Евфросинью напугал? Что ты ей о Машуре наговорил?

Никитка осклабился, посмотрел на Евфросинью, посмотрел на барина... Помолчав немного, он почесал затылок и сказал:

– Да так, ваше сиятельство, думается мне, как бы они вашу Машуру там не испортили.

– Кто это они?.. О ком ты говоришь?

– Да хлысты чернолуцкие, – отвечал Никитка. – Я в той стороне бывал, их тоже видал и много про них слышал, а потому знаю, что это за народ. Люди они не праведные... Это не то, что раскольники... Себя они за святых выдают, а сами девиц на грех смущают... Вот хотя бы, к примеру сказать, там есть один Ракеев...

– Ты его знаешь? – прервал рассказчика Сухоруков.

– Слышал я про него, – отвечал Никитка. – Там в округе самая эта молва про Ракеева идет. И напрасно, ваше сиятельство, ты в это самое место Машуру отпустил...

– Я Машуру знаю, – сказал Сухоруков. – Она обещала вернуться вскорости... Она не сегодня-завтра здесь будет.

– Ну, значит, и ждите, коли вернется, – усмехнулся Никитка.

Но тут вмешалась Евфросинья. Она начала всхлипывать.

– Пропала моя головушка... – заголосила она. – Измучилась я, ее ожидавши... Уж больше месяца ее нет... Нет об ней ни слуху, ни духу... Ох, чует сердце недоброе!.. Завертят ее там, безвольную... Таиса меня обманывала...

Кончились эти причитания тем, что Евфросинья вдруг бросилась к ногам Василия Алексеевича и начала умолять барина выручить Машуру, послать за ней или позволить ей самой поехать за дочерью.

Разговоры эти произвели свое действие на Сухорукова. Обратившись к страннику, он сказал:

– Слушай, Никитка! Вот что я решил! Я тебе Маскаева

дам и дам вам обоим тройку лошадей. Поезжайте вы оба туда, в эти леса чернолуцкие, разыщите Машуру и доставьте ее в Отрадное к матери. Вот и узнаем тогда, верны ли твои наветы да разные подозрения... Денег на дорогу я дам и все необходимые распоряжения сделаю... Поедешь?

Никитка недолго раздумывал над предложением Сухорукова и своим согласием.

– Что ж, ваше сиятельство! Видно уж надо слова свои оправдать, нужно для благодетеля постараться... Мне все равно странствовать-то...

Евфросинья кинулась благодарить барина за милости, за хлопоты. Она вышла с Никиткой от Сухорукова утешенная.

Надо сказать, что Василию Алексеичу все эти разговоры и благодарности были не особенно приятны; они наводили на него только скуку. Он прекрасно сознавал, что никаких таких благодарностей он не заслуживает. В сущности, он совсем и не думал заботиться о Машуре. Если он сейчас решил послать за ней Маскаева с Никиткой, то это потому, что уж очень Евфросинья к нему пристала, и еще потому, что Никитка сумел возбудить в нем любопытство относительно хлыстов и относительно такой невероятной идеи, что какой-то там Ракеев может явиться соперником его, Сухорукова, в любовных делах. Сухоруков при тогдашнем своем устроении был весьма чужд настоящей доброты. Он был большой эгоист. Таких связей, как с Машурой, у него было много, но все это так легко начиналось и кончалось без осо-

бых затруднений. От своих любовниц, которых Сухоруков брал из крепостных, он отделялся, когда они ему надоедали, с легким сердцем. Им давали приданое, и они выходили замуж. Такая же, как и другие, Машура была для барина только забавой; он и относился к ней, как к игрушке.

Сухоруков вовсе еще не знал, что из себя представляет серьезное чувство к женщине. Он и к женщинам своего круга относился не лучше, чем к крепостным. Его светские приключения с прекрасным полом имели тот же легкомысленный характер. Все они представляли из себя что-то вроде веселых анекдотов. Раз только в этих его эпизодах был случай с одной девушкой из дворянской семьи – случай, оставивший в душе Василия Алексеевича печальный след, хотя Сухоруков в отношениях к этой девушке и не успел особенно далеко зайти... Впрочем, об этом случае, как и о других своих приключениях, Сухоруков тоже не долго помнил. Он скоро забыл об этом маленьком событии, как об обстоятельстве мелком и незначительном.

Но, что замечательно, это маленькое событие вспомнилось Василию Алексеевичу именно теперь, во время постигшей его болезни, и вспомнилось оно как-то само собой, и притом очень ярко.

Сухоруков сидел, по обыкновению, у своего излюбленного окна и смотрел на отрадинскую тенистую аллею, живописно уходившую вдаль к беседке над прудом. И вдруг ему вспомнилось, что он у своих соседей, стариков Ордынцевых,

шел по подобной же тенистой аллее с молодой девушкой, Еленой Ордынцевой, и девушка эта тогда так нежно и доверчиво на него смотрела. Голубые глаза ее светились, и он знал, что это он, Сухоруков, зажег сердце ее, и это ему было приятно. Потом они пришли в беседку и сели на скамейку. И он начал вызывать эту девушку на объяснение, заставил ее сознаться, что она его любит. Да! Она сказала это, глядя на него как-то особенно пристально, точно она хотела этим своим взглядом войти в его душу... Он до сих пор помнит эти пристальные глаза, на него устремленные, – глаза верившей тогда в свое счастье девушки. И что же?.. Он на это признание стал тогда говорить Елене, что сейчас жениться не может, хотя этого желает, что надо поговорить с отцом, что все впереди, что он ее любит. Затем он уехал и... перестал совсем бывать у Ордынцевых.

После этого последнего визита Сухорукова к Ордынцевым до него стали доходить слухи, что барышня Ордынцева собирается в монастырь, что она даже больна. Сухоруков скоро перестал интересоваться судьбой этой девушки, забыл о ней и думать и не знал теперь, что с ней стало.

Но сегодня, когда Василий Алексеевич сидел у окна, показалось ему, что он словно видит перед собой эту девушку с немой мольбой на устах, и он не мог не почувствовать того, что был злой причиной ее страданий... Ведь он так рассчитанно и спокойно завлекал эту девушку, завлекал ее полупонамеками, поддельными взглядами, обещал ей без слов сча-

стью. Он даже раз, как бы шутя, сорвав со своей цепочки маленький брелок с изображением сердца, пронзенного стрелой, просил девушку взять этот брелок на память – на память об одном пикнике, в котором они участвовали. Все это было у него рассчитано, чтобы привести девушку к признанию в любви к нему, чтобы вырвать у нее это признание. И все это он делал единственно для того, чтобы потешить свое самолюбие, чтобы потешить себя, что он такой неотразимый.

Василию Алексеевичу вспомнилось также сейчас, как была преднамеренно обдумана вся эта бессердечная забава, какую он создал для всего этого обстановку – обстановку, чтобы старик Ордынцев не мог обвинить его, Сухорукова, в неблагоприятных действиях по отношению к девушке. В дом к Ордынцеву он ездил всегда не один, а вдвоем с удобным для себя компаньоном – неким князем из мелкопоместных помещиков. Фамилия этого князя была громкая. Это был князь Кочура-Козельский, еще не старый вдовец, тоже как бы претендент на сердце Ордынцевой, а в сущности послушный сухоруковский слуга, живший у них в качестве прихлебателя.

Воспоминания эти пронеслись перед глазами Василия Алексеевича. Мысли о Елене Ордынцевой и его, Сухорукова, поведении с ней кололи его. Не угрызения ли совести начинали просыпаться в нем? Или его начинало мучить сознание, что он, отвергнув тогда Ордынцеву, потерял этим навеки свое счастье? Если бы она теперь была около него, то облегчила бы ему эту страшную тяжесть одиночества – одино-



чества при его теперешней болезни и беспомощности...

### Ш

Наконец вернулся в Отрадное старик Сухоруков. Все ожило с его приездом. Приехал он совсем другим человеком. Он точно лет на десять помолодел за свое отсутствие. Чего только он не накопил в столицах для своей резиденции – тут и бронза, и часы с репетицией, и картины, изображавшие разных нимф в гроте и на берегу моря. Привел он с собой и пару рысистых жеребцов для своего конного завода. Наконец, вслед за Сухоруковым явился особый мастер от Винтергальтера и установил в отраднинском зале доставленную им из Москвы машину – оркестрион, которая играла разные оперы, а также легкую музыку. Но такими новостями для своего Отрадного старик Сухоруков не ограничился. Он привез для своего услаждения особого человека. В Петербурге ему попался некий штук-мейстер Аристион Лампи, один из питомцев петербургского Театрального училища, которого Сухоруков и решил взять с собой в Отрадное и приспособить для отраднинских увеселений.

Этот Аристион Лампи был в своем роде человек замечательный. Не будь он жесточайшим пьяницей, он сделал бы себе имя и в столице. Он был танцовщик и музыкант, играл хорошо на скрипке и недурно на фортепиано. Физиономия у него была одутловатая, вследствие большой приверженно-

сти к выпивке, и весьма незначительная по красоте, но он имел недурное сложение и легкую походку. Он был точно на пружинах – не ходил, а подпрыгивал. Лампи обещал, между прочим, обучить отрадинских «бержерок» и «психей» настоящему балетному искусству и поставить к Новому году в Отрадном балетную пастораль.

Приехал в свое Отрадное Алексей Петрович очень веселый, но его опечалило то состояние, в котором он застал сына. Болезнь Василия Алексеевича, по-видимому, укрепилась. Старик Сухоруков решил принять к излечению сына самые действенные, по его мнению, меры. Ему стало очевидно, что уездный врач, лечивший Василия Алексеевича, ничего в его болезни не понимал и только путал, бросаясь от одного средства к другому. И вот Алексей Петрович надумал выписать из Москвы для консультации знаменитого в то время доктора Овера, выписать его непременно, что бы это ни стоило. Он написал об этом в Москву к своим знакомым сейчас же после своего приезда в Отрадное. Он надеялся это дело устроить.

Старик был нежен и добр с сыном. Любовь к Василию вспыхнула у него с прежней силой. Он всячески старался сына утешить, рассказывал ему петербургские новости, смешил его анекдотами, вступал с сыном в рассуждения и споры о литературе, к которой был тоже большой охотник. Но он Пушкину предпочитал Державина и Жуковского, любил очень Мерзлякова и даже недурно декламировал неко-

которые места из его перевода Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

С приходом старика Сухорукова появились гости в Отрадном. Приехал для продолжительного гостения у Сухоруковых князь Кочура-Козельский, тот самый, о котором мы говорили выше, человек забавный, «натуральный шут», как называл его Алексей Петрович. Этот князь Кочура-Козельский, владелец тридцати душ крестьян, будучи совсем непригоден, чтобы где-нибудь служить и сделать карьеру, проживал у богатых людей. Он делил свое время в качестве компаньона то у Сухоруковых, то у других состоятельных соседей. Теперь пришел его срок проживать в Отрадном. Затем стали приезжать другие соседи. В Отрадном зашумела прежняя веселая жизнь.

В беседах с сыном старик Сухоруков узнал о посылке доезжачего Маскаева для розыска Машуры. Между тем на дворе была осень. Вскоре затевалась большая охота. Маскаев был для охоты нужен, как один из самых удалых охотников, а он все еще не возвращался. Маскаев, по-видимому, застрял в чернолуцких лесах в поисках Машуры. Алексей Петрович жалел об отсутствии Маскаева, но знал об отношении сына к крепостной девке и ничего не сказал по поводу этой командировки доезжачего.

Относительно возвращения Машуры молодой Сухоруков начал сам приходить в сомнение – не прав ли был странник Никитка, когда говорил о Ракееве как о любителе сманивать

красивых девушек в свою хлыстовскую секту. Но Василий Алексеевич, как мы уже упоминали, не особенно грустил о Машуре. Его занимали теперь другие мысли, другие воспоминания...

## IV

О Машуре Василия Алексеевича заставило подумать следующее совершенно неожиданное обстоятельство.

Однажды камердинер Захар доложил, что в передней дожидается неизвестный седой старик, одетый по-купчески в длиннополый кафтан, приехавший к молодому барину по особому делу. Он назвал себя мещанином Никифором Майдановым и объяснил, что состоит приказчиком чернолуцкого купца Максима Васильевича Ракеева.

Читатели наши, конечно, догадались, что старик, о котором доложил своему барину Захар, был никто иной, как ракеевский апостол Никифор, приехавший в Отрадное уже в качестве поверенного купца Ракеева, и что дело, о котором будет говорить с Сухоруковым Никифор, касается Машуры и затеянного Ракеевым намерения добиться от господ Сухоруковых, чтобы они дали Машуре вольную.

Так оно и оказалось. Никифор, допущенный Захаром к молодому барину, завел с ним разговор о Машуре. Он объявил Василию Алексеевичу, что их, Сухоруковых, крепостная девица Мария Аниськина (она же Машура), стремясь

посвятить себя иноческой жизни и спасти тем свою душу, пожелала поступить в один из скитов, находящихся в чернолуцких лесах, где живут люди, преданные старой вере. Сия девица Мария не желает возвращаться в мир. В судьбе этой девицы принял участие его хозяин и благодетель, богатый купец Ракеев, который, будучи движим единственно чувством любви к ближнему, готов заплатить господам Сухоруковым большую сумму, даже целых тысячу рублей, если они дадут девице Марии Аниськиной вольную. Никифор Майданов объяснил Василию Алексеевичу, что если для осуществления сего дела необходимо будет еще выкупить на волю мать Марии, Евфросинью Аниськину, то его доверитель Ракеев готов заплатить господам Сухоруковым за вольную для старухи Евфросинью пятьсот рублей, что это очень большая сумма за Евфросинью, которая как не могущая работать, никакой ценности из себя не представляет и никакой пользы господам Сухоруковым не приносит.

С первых слов Майданова Василия Алексеевича крайне удивило это предложение ракеевского приказчика. Такого обстоятельства Сухоруков никак не ожидал. Не ожидал он, что данный им Машуре отпуск примет такой оборот. Теперь он все более и более убеждался в верности подозрений Никитки насчет чернолуцкого купца Ракеева. И это его взволновало. Но потом, в конце беседы с Никифором Майдановым, молодой Сухоруков успокоился, ибо что ему была теперь Машура?.. Он сказал Никифору, что если Мария

Аниськина действительно хочет освободиться от жизни в Отрадном и уйти в чернолуцкий раскольничий скит, то он сам лично против этого ничего не имеет. Но он находит нужным для ясности дела, чтобы девица Мария Аниськина о желании своем оставить Отрадное и жить в скиту заявила своим господам лично. Что же касается выдачи Аниськиным вольной, то разрешение этого вопроса зависит единственно от его отца Алексея Петровича Сухорукова. Василий Алексеевич сказал еще Майданову, что он передаст отцу все эти ракеевские предложения насчет Евфросиньи и Марии Аниськиных.

Вечером в этот же день Василий Алексеевич сообщил отцу свой разговор с приказчиком Ракеева; при этом на вопрос отца, как он сам к этому делу относится, сказал, что против отпускнуей Машуре и ее матери он ничего иметь не будет, что теперь Машура ему совсем не нужна, что он не прочь с ней развязаться. Но что следовало бы, входя в положение Машуры, убедиться в том, что здесь играет роль единственно ее свободная воля, что в этом деле нет никаких особых махинаций со стороны Ракеева и его приказчика Майданова.

Старик Сухоруков отнесся совершенно иначе к переданному ему сыном предложению Майданова. Он взглянул на это дело не так мягко, как его сын Василий. Прежде всего, здесь была уязвлена барская гордость старика Сухорукова, и уязвлена она была тем, что как это смеют сманивать из числа его крепостных девушку, да притом еще красивую, для

помещения в какой-то там раскольничий скит. Поэтому, если уж на то пошло, что ему придется дать вольную Аниськиным, чего, по-видимому, желает его сын, то он этого купца Ракеева за его махинации жестоко накажет и потребует за вольную Аниськиных цену гораздо большую, чем та, которая была предложена Майдановым. Кроме того, старик Сухорук-ков рассудил Никифора Майданова выдержать в Отрадном; он решил не спешить принимать его для переговоров и своей резолюции не объявлять, пока не возвратится доезжачий Маскаев из командировки, пока от него не будет получено достоверных сведений.

Случилось так, что вслед за прибытием в Отрадное ракеевского приказчика Майданова вернулся домой и Маскаев со странником Никиткой. Маскаев был тотчас же позван к старому барину. От него Алексей Петрович узнал совершенно неожиданные для себя новости. Маскаев сообщил старику за верное, что купец Ракеев вовсе не раскольник, а принадлежит к темной секте хлыстов, что он – большой бабник – вовлекает в хлыстовство молодых девиц, со многими из них состоит в любовной связи, что он для этого завел «скиты» в чернолуцких лесах, что обе настоятельницы этих скитов, Манефа и Маланья, – его любовницы. Сведения эти Маскаев собрал в селениях, находящихся близ Виндреевки, где живет Ракеев. В этом ему много помог странник Никитка, который хорошо знает те места. Что же касается Машуры, то им не удалось ее найти, хлысты ее скрывают. Маскаев доба-

вил, что он ездил к становому жаловаться на Ракеева и на то, что в чернолуцких лесах такие скиты устроены, где прячут девушек, но что становой, надо полагать, подкуплен Ракеевым, потому что, продержав их у себя в стану более двух дней, стал потом к ним придирааться, потребовал от Маскаева предъявления паспорта и, когда тот показал ему удостоверение из барской конторы, отпустил их с ругательством, говоря, что они приехали к нему по-пустому, отвлекая его от других серьезных дел.

Старик Сухоруков был возмущен этими сведениями. Он велел позвать приказчика Никифора Майданова, обошелся с ним весьма сурово и кончил тем, что запросил за вольную Аниськиных такую невозможную сумму, что Никифор совершенно уклонился вести дальнейшие переговоры о Марии Аниськиной с барином. При этом Никифор почтительным тоном объяснил отраднинскому барину, что если его доверитель Ракеев хотел внести за вольную Аниськиных полторы тысячи рублей, то единственно из чувства человеколюбия, что напрасно барин предполагает, что они сманили у него девицу Марию Аниськину. Она ушла из Отрадного по собственной воле. У ней самой большая охота странствовать по скитам и монастырям. Может быть, и сейчас она от них куда-нибудь ушла странствовать. Во всяком случае, добавил не без иронии Майданов, девицу Марию Аниськину придется господину Сухорукову поискать... И лучше было бы барину без всей этой возни получить хорошие деньги. Деньги



он, Майданов, привез с собой, и барину ничего не составит выдать сейчас же отпускную старухе Евфросинье с дочерью. Он об этом старухе Евфросинье только что говорил, и та чуть с ума не сошла от радости, когда узнала, что ее с дочерью хотят выкупить на волю.

Эти речи Майданова на старика Сухорукова совершенно не подействовали. Кончилось тем, что он попросту приказал ракеевскому приказчику убираться вон из Отрадного.

Не привыкший к препятствиям в своих делах, взвинченный всеми этими разговорами, Алексей Петрович решил прибегнуть к новому пришедшему ему в голову средству разрешить заварившуюся кашу по поводу ухода любовницы его сына из Отрадного. У него блеснула мысль обратиться с этим делом к только что назначенному на пост чернолуцкого губернатора приятелю своему Аркадию Дурнакину, с которым он недавно кутил в Петербурге по случаю его высокого назначения. «Напишу-ка я ему обо всем этом письмо, – мелькнуло в голове Алексея Петровича. – В письме изложу ему о побеге моей крепостной девушки к хлыстам в чернолуцкие леса. Напишу ему о том, что узнал Маскаев о Ракееве и его скитах. Сообщу также, что полиция Ракеевым подкуплена и его защищает. Пускай мой друг Дурнакин на этих хлыстах перед Петербургом отличится. Ведь новая метла так хорошо сначала метет!.. И задаст же Аркаша Дурнакин этим хлыстам перцу... И девицу Аниськину мы оттуда выцарапаем!..»

В этот день вечером старик Сухоруков сидел в своем кабинете за сочинением письма чернолуцкому губернатору. Письмо было написано. Старик Сухоруков, перечитав его, остался доволен. Он нашел его убедительным.

На другой день письмо было отправлено заказной почтой из уездного города в г. Чернолуцк, отстоящий от Отрадного в 300 верстах.

## V

Болезнь, постигшая молодого Сухорукова, оторвавшая его от легкомысленной жизни, заставившая оглянуться на себя, повлияла на Василия Алексеевича и в его вкусах относительно всего его окружающего. Так, в последнее время ему стала претить та рабская угодливость и подобострастная тренировка, которая сказывалась в каждом движении крепостных людей, ему служивших, в каждом их взгляде. Ему стало, наоборот, нравиться, что камердинер его Захар представлял в этом отношении исключение. Василий Алексеевич легко переносил, когда Захар позволял себе ворчать на него. Молодой Сухоруков теперь полюбил разговаривать и спорить с Захаром. На него начали даже влиять ворчливые возражения и нотации старого слуги.

Однажды между Захаром и Василием Алексеевичем произошел такой разговор.

Подав барину утренний чай и поглядев с участием на него,

Захар остановился в дверях и сказал:

– Бога вы, сударь, совсем забыли. Вот Он вас и наказал болезнью...

Василий Алексеевич с удивлением посмотрел на Захара, начавшего такую поучительную речь.

– Бога вы, барин, забыли, – продолжал Захар. – Кабы ма-тушка ваша была жива, разве вы такие были бы! В церкви вы никогда не бываете, а она тут рядом, близехонько... Завтра вот Покров – праздник... Служба будет хорошая... Мы бы вас в церковь доставили, посидели бы там перед иконами, Богу бы помолились. А то ведь никогда вы не молитесь, никогда не говеете. Небось, забыли, что есть исповедь и святое причастие...

Слова эти задели за живое Василия Алексеевича. Они заставили его вступить в спор с Захаром и высказаться.

– Не верю я, Захар, этому вашему говению, о котором ты говоришь, оттого и не говею, – отвечал он. – Не признаю я попа Семена, великого лихоимца, оттого к нему и не обращаюсь. Что он мне за исповедник? Ты, Захар, многого не понимаешь... Не понимаешь, что есть настоящая религия. Ты вот затвердил, как сорока, чему тебя учили, затвердил свою веру без всякого понятия. А я вижу многое, чего ты не видишь, и твои, милый мой, законы мне не годятся.

– Ишь ты, не годятся! – заворчал старый слуга. – А отчего не годятся? Да не годятся вам эти законы, сударь, потому что вы, сударь, гордец! Вот кто вы есть!.. И какие ваши резоны, –

заспорил он, очень недовольный. – Начали вы отца Семена корить... Он, мол, лихоимец. А отцу Семену пить-есть надо. Отец Семен с мужиков по необходимости требует. Вот, заместо того, чтобы отца Семена судить, вы бы на себя, сударь, больше смотрели... Мужичкое-то все вам с батюшкой вашим идет. Батюшка же ваш, Алексей-то Петрович, отцу Семену что дает? Шесть четвертей ржи да шесть четвертей овса, и вся его дача. А у отца Семена шесть человек детей, их тоже учить надо... Батюшка ваш вон заместо церкви тиятры заводит. Музыканта выписал на манер француза... Сколько деньжищ ему платит! Черта, прости Господи, тешить приехал этот музыкант, срам с девками для барина разводить...

– Ты отца моего этим не кори, – сказал Василий Алексеевич, – где люди, там и слабости человеческие.

– Вот то-то, слабости, – проговорил Захар, – а это разве хорошо!

– Везде, Захарушка, эти слабости, – начал возражать Василий Алексеевич. – И в скитах твоих сраму порядочно. Спроси-ка Никитку. Он только что из чернолуцких лесов приехал. Он тебе порасскажет, какие там слабости...

– Слабости!.. – опять заворчал Захар, качая головой. – Все-то вы, сударь, путаете. Ведь те скиты, где был Никитка, разве настоящие? Ведь это темные скиты. Вы, сударь, настоящих-то и не видывали. Да вы и монастырей наших православных совсем не знаете.

– Слышал я про них, Захарушка, много слышал. Слышал

про твои эти монастыри. Все это то же самое. Во всех этих скитах – и православных, и сектантских – одно и то же: ту-неядство и разврат. Люди, милый мой, везде одни...

– Плохо вы слушали, сударь, – не унимался Захар, – и плохие у вас приятели, которые вам это говорили. Вам вместо того, чтобы по слухам, лучше самим бы монастыри-то посмотреть. И увидали бы вы там людей настоящих. Вот, к примеру сказать, был старец Серафим в Сарове, лет уж пять, как он помер, верст четыреста отсюда. Вот, кабы его увидали, не то бы заговорили...

– Это что же, вроде христа Ракеева? – спросил насмешливо Сухоруков.

– Ох! Не шутите так, барин... Дурные эти ваши шутки! – сказал, возмущившись, старый Захар. – Горько смотреть на вас, а разговаривать с вами еще горчее... – Он махнул рукой. – Господи, спаси нас и помилуй!..

Захар, по-видимому, совсем огорчился. С большим ворчанием он вышел из комнаты, не желая слушать, что дальше будет говорить Василий Алексеевич.

Захар был сильно взволнован. Идя к себе, он столкнулся со старым барином, который шел навесить сына. Захар до того был увлечен своим недовольством на Василия Алексеевича, что не посторонился перед стариком Сухоруковым и не поклонился ему низко, как это полагалось по этикету. Он быстрыми шагами прошел мимо Алексея Петровича в свою каморку, которая была рядом с передней, и захлопнул за со-

бой дверь.

– Камердинер-то твой, кажется, из повиновения выходит, сказал старик Сухоруков с улыбкой, здороваясь с сыном.

– Ворчит, по своему обыкновению, – отвечал Василий Алексеевич. – Он мне сейчас говорил про одного старца... Жалеет, что я этого старца не знал.

– И охота тебе, Васенька, с Захаром о разных старцах разговаривать!

Старик Сухоруков подошел к углу кабинета, где стояли в особой подставке набитые табаком чубуки, выбрал себе один из них и уселся в кресло против сына. Он с наслаждением затягивался «Жуковым» табаком.

– Охота тебе разные басни о старцах слушать, – продолжал свою речь старик Сухоруков. – Все эти повествования о божественных людях, эти рассказы о их добродетелях и чудесах – сущий вздор. Напоминают они мне одну преуморительную в этом роде пародию, написанную Вольтером. Сказка называется «Простодушный». Ты ее, Васенька, читал?

– Что-то не помню, – отвечал Василий Алексеевич.

– Преостроумная, доложу тебе, сказка, – заговорил старик, – только один Вольтер умел так смеяться над разным суеверием.

Алексей Петрович с наслаждением затянулся из своей трубки и пустил несколько колец дыма.

– Вольтер пишет там об одном их католическом святом, – продолжал Алексей Петрович. – Этот святой, представь се-

бе, однажды, усевшись на небольшую гору, отплыл на горе по морю из Ирландии и в этом своем «экипаже», то есть сидя на горе, прибыл во Францию, в какую-то там бухту. Все это так в житии святого, представь себе, расписано. Выйдя на берег, святой, как ему полагалось по ритуалу, торжественно благословил свою гору, которая, говорит Вольтер, в ответ на это грациозно святому поклонилась и затем вернулась по тому же пути в Ирландию... Эдакое, понимаешь ли, удивительное чудо! И все житие изображено в подобном живописном роде... Чистая умора, я тебе скажу!.. Вот и наши святоши в этом же духе всякий вздор рассказывают!..

Василий Алексеевич рассмеялся.

– Да что ты, Васенька, как я погляжу, у себя все сидишь. Все чтение да чтение... Вышел бы в зал, развлекся бы, – сказал старик Сухоруков.

– Не тянет, отец, – отвечал сын. – У меня и в моей комнате хорошо.

– Ну вот, не тянет!.. Посмотрел бы мои картины, которые я привез. Оркестрион бы послушал – Алексей Петрович пустил еще несколько колец дыма. Он был сегодня в хорошем настроении. – Опять, музыканта я вывез из Петербурга, господина Лампи... Прекрасно на фортепиано играет. Очень любит твоего Глинку, недурно фантазирует на его мотивы. Талантливая бестия!.. Я этого музыканта, милый друг, особенно называю. Зову его моим штопором: господин штопор, больше никак... Другого у меня ему названия нет...

– Это почему же ты так его назвал? – заинтересовался молодой Сухоруков.

– Да потому, что он своей музыкой мои чувства откупоривает, – разъяснил старик.

– Интересно будет его послушать, – сказал Василий Алексеевич.

– То-то вот, интересно. Однако послушай, Василий, – переменял разговор старик, – князь Кочура на тебя вчера жаловался... Говорит, что ты стал очень суров... Будь с ним подобрее, ведь он препотешный человек... Его отпугивать не надо.

– Надоел он мне, – отвечал молодой Сухоруков.

– Как у тебя скоро симпатии меняются, – улыбнулся Алексей Петрович. – Былое время ты с ним не расставался... Помнишь, когда заладил с ним к Ордынцевым ездить?

– Что было, то прошло, – проговорил Василий Алексеевич. – Ордынцевы для меня умерли.

– Ох, не совсем-то они умерли, Васенька, – возразил старик. – Вчера от Ордынцева письмо я получил, и, скажу тебе, весьма дерзкое письмо. Просит меня в нынешнем году в его логу не охотиться... Что у вас произошло? С чего ты с ним раззнакомился?

– А с того я с Ордынцевыми раззнакомился, – с горечью отвечал Василий Алексеевич, – что Елена Ордынцева в меня влюбилась... А я занимался тем, что увлекал ее, играл ею, а жениться на ней не хотел... Поэтому я и бросил у них бывать.



По правде сказать, я поступил с ними не особенно красиво...  
– Еще бы ты женился на ней!.. – резко сказал Алексей Петрович. – Какая она тебе невеста!.. У Ордынцевых всего-навсего семьдесят душ, и сам Ордынец пренеприятнейший человек, с громадной фанаберией! И что он такое, подумаешь? Что он из себя представляет? Отставной пехотный офицеришка, совершенно прогоревший, и больше ничего... А тоже с барскими замашками, с претензиями. Ну да погоди он у меня! Это его дерзкое письмо ему даром не пройдет. Он мне в логу запретил охотиться, а я сделаю гораздо проще. Я этот лог у него судом отберу. Вот и будет он другой раз дерзкие письма писать!

Старик говорил все это раздраженным тоном. Видно было, что письмо Ордынцева задело его за живое.

– Я отлично знаю, – закончил Алексей Петрович свою речь об Ордынцеве, – что эта земля у него, что называется, «примерная», что документов на нее у него нет. Я вот и затею с ним размежевание и спорный процесс. Он тогда и узнает, как с Сухоруковым ссориться...

Так он посещал сына почти каждый день. Но эти частые посещения, это желание старика развлечь Васеньку мало утешали больного. Василий Алексеевич делался едва ли не мрачнее после визитов отца...

## VI

Наступила зима, и вместе с зимними днями, вместе с бесконечным сидением Василия Алексеевича в кабинете начали находить на нашего больного тяжелые минуты, минуты усиливающегося ропота на свою судьбу.

«Как весь этот ужас со мной совершился? – говорил себе с горечью молодой Сухоруков. – Как я дошел до этого состояния?» – уныло спрашивал он себя, глядя в окно на метель, которая ударяла в стекла снежными хлопьями и затуманивала белой несущейся пеленой зимний пейзаж, растянувшийся перед домом, превращая все в какой-то бесформенный движущийся туман...

«И вот жизнь моя уходит в бесцельном прозябании, уходит бесформенная, без впечатлений, как эта скучная метель, как этот белый движущийся саван... Каким образом все это могло случиться?» – задавал себе чуть ли не в тысячный раз Василий Алексеевич этот мучительный вопрос.

«Неужели причиной всего этого несчастья то колдовство... тогда в лесу... колдовство, в которое втравил меня странник Никитка, направив к колдуну?.. Неужели из-за этого глупого колдовства не будет вовсе конца моим злоключениям, и я навсегда останусь беспомощный, недвижимый, в кресле, не могущий даже на бумаге в письме излить свою душу?»

Такие приступы ропота стали нередко находить на Василия Алексеевича.

Правда, в Отрадном было много своих развлечений, но эти развлечения имели цену для Василия Алексеевича в прежнее время; они тешили его, когда он был здоров. Это была охота, приезды гостей. Были еще потехи с разными прихлебателями вроде князя Кочуры-Козельского или Аристиона Лампи, которые забавляли Сухоруковых. Но теперь больной стал всего этого чуждаться.

«До чего я сделался далек от них», – думал иногда Василий Алексеевич во время веселых обедов с гостями, обедов, которые иной раз устраивал его отец, требовавший, чтобы сын непременно на них присутствовал. На эти обеды или увеселения больного обыкновенно вывозили в зал в особом катающемся кресле, доставленном для него из Москвы. В этих случаях гости подходили к Василию Алексеевичу, старались выразить ему участие по поводу постигшей его болезни. Но Василий Алексеевич скучал теперь в этой компании. Редко-редко, когда его заставлял улыбнуться какой-нибудь смешной рассказ гостя или когда его начинал занимать какой-нибудь спор, затеянный отцом. При этом надо еще отдать должное старику Сухорукову: тот умел оживлять своих гостей, умел делать их интересными, а иногда и смешными, наводя собеседников на такие слабые их стороны, которые заставляли их смеяться.

Так шли дни Василия Алексеевича, дни большей частью

нерадостные и унылые...

Наконец, перед самым Рождеством, прибыл в Отрадное долго ожидаемый доктор Овер, о выписке которого хлопотал Алексей Петрович. Приезд его оживил нашего больного.

Приехал Овер в Отрадное вечером, переночевал ночь и уехал утром на другой день. За свой приезд он взял большие деньги, но Алексей Петрович ничего не жалел для поправления здоровья сына. Осмотрев больного, Овер отменил все decoхты и рецепты уездного врача как совершенно бесполезные. Он объявил, что, по его мнению, есть только одно средство вылечить больного – это горячие серные ванны. Он дал совет молодому Сухорукову ехать в мае на Кавказ, в Пятигорск, где теперь вполне благоустроено, имеются прекрасные ваннные здания и есть хорошая гостиница. Доктор Овер предложил со своей стороны написать о больном главному пятигорскому врачу, который ведет там все дело лечения. До отъезда же в Пятигорск Овер советовал молодому Сухорукову брать теплые ванны не менее трех раз в неделю, чтобы поддержать циркуляцию в крови.

Доктор Овер утешил всех своей уверенностью, что больной будет излечен. Придется только потерпеть до лета. В Пятигорске он непременно поправится. Приезд Овера ободрил Василия Алексеевича. Он повеселел, и настроение его начало меняться к лучшему.

## VII

В один прекрасный день – это было после Нового года – к сыну в кабинет вошел старик Сухоруков. Он держал в руках письмо, только что полученное им от чернулуцкого губернатора Дурнакина.

– Я к тебе с новостью, Васенька, – сказал старик. – Судя по письму, которое я получил, Машура-то твоя, кажется, совсем пропащая стала... Послушай, что ко мне пишет Дурнакин.

Старик начал читать полученное письмо. Оно касалось возникшего дела о хлыстах и об их главарях Максиме Ракееве и Никифоре Майданове. В этом письме Дурнакин прежде всего благодарил своего друга Алексея Петровича за то, что тот навел его на это дело. Получив от Сухорукова сообщение о Максиме Ракееве, он, Дурнакин, тотчас же послал в Виндреевку своего чиновника для расследования. Тут же пришлось сместить всю тамошнюю полицию, потому что она действительно была подкуплена Ракеевым. Расследование дало интересные результаты. Дело уже закончено и передано для дальнейшего направления в уголовный суд. Уже посадили в тюрьму двух самых важных главарей хлыстовства – Максима Ракеева и Никифора Майданова. Кроме того, взяты под арест тринадцать женщин, ярых хлыстовок; в том числе – одна, считавшаяся богородицей, Манефа, и еще про-

рочица Маланья. Арестована также и девица Мария Аниськина, крепостная господ Сухоруковых. Она оказалась тоже ярой хлыстовкой.

– Вот тебе и Машура! – сказал сыну старик Сухоруков. – Она тоже в эту милую компанию попала...

«Все эти женщины, – читал дальше в письме Алексей Петрович, – как выяснилось по расследованию, были любовницами Максима Ракеева. На допросах они, каждая, показали следующее: склонил он меня на прелюбодеяние, говоря, что это сделать должно по воле Божией, а не по его, ибо в нем своей воли нет; чему веря, я и согласилась. Девочек этих Ракеев доводил до сумасшествия. Когда его посадили в тюрьму и они лишились возможности видеть своего, как они говорили, Христа, то некоторые из них не могли выносить разлуки с Ракеевым; они были как помешанные. Так, девица Маланья, считавшаяся у хлыстов пророчицей, вскоре по взятии Ракеева под арест впала в юродство, ничего не говорила, бесстыдно обнажала себя и в этом положении днем ходила по улицам. Сам Ракеев на следствии дал такое показание: сила, во мне действующая, так с ними, то есть с женщинами, поступает сильно нудила, что я никак не мог противиться ей... я понимал сей поступок – хотя я с писанным законом творю и несходно, но с волею Божией сходно. Я сознаю в себе Духа Божия, поэтому так и покоряюсь поступать насчет девушек. И они мне покоряются и познают со мной серафимовскую любовь, потому что чувствуют во мне силу Духа Божия».

– Mais c’est unique!<sup>1</sup> – воскликнул, читая эти строки, Алексей Петрович. – Каков каналья этот Ракеев! Скажите, пожалуйста! Он, видите ли, сам бог. Да, это должны быть интересные отношения с женщинами!.. Меня даже зависть берет... Приходит к тебе вдруг эдакая хорошенькая девка, вроде Машуры, и вдруг тебе на шею... говорит, что ты бог. Да это, я тебе скажу, препикантные отношения! Уж на что я, кажется, по этой части понимаю, но до такой гениальной позиции, как этот Ракеев, еще не додумался. Ведь какая должна быть страсть у девиц при такой их вере... Нет, милый Васенька, перед этим Ракеевым мы с тобой в наших эротических делах сущие еще мальчишки и щенки!..

Ничего не отвечал молодой Сухоруков на эти юмористические тирады своего отца и на отцовский веселый смех. Не до смеха было Василию Алексеевичу. Ему было сейчас противно на самого себя, было противно, как он жил до сих пор, как он легкомысленно относился ко всему окружающему и в особенности к женщинам, с которыми он сталкивался. Ведь это он первый показал Машуре дорогу к падению и разврату, Ракеев только продолжал его скверное дело. Но Сухоруков соблазнил Машуру, пользуясь обаянием своей крепостнической власти, Ракеев соблазнил ее же – обаянием своей фиктивной божественности. И он, Сухоруков, и тот хлыстовский соблазнитель – одинаково скверные люди, которым прежде всего нужно было удовлетворить свою похоть...

---

<sup>1</sup> Но это поразительно!

– Я вижу, новость моя тебя огорчила, – сказал старик Сухоруков. – Ты так, мой друг, задумался! Ну, не горюй, дорогой Василий, об этих делах... Таких дур, как Машура, у нас сколько угодно... Главное, мой друг, для тебя – это твое здоровье. О нем нужно заботиться, и мы его непременно поправим... А все остальное к нам придет, когда мы с тобой будем совсем здоровы.

## VIII

Во второй половине апреля, когда весна уже вступила в свои права и дороги установились, в Отрадном начались приготовления для предстоящего путешествия Василия Алексеевича на Кавказ. Путь предстоял далекий: более полутора тысяч верст. Стариком Сухоруковым был предназначен для путешествия сына дормез, который начали готовить в дорогу. С молодым барином поедут трое слуг: камердинер Захар, сделавшийся истинным «нянькой» больного, помощник Захара Матвей и повар Иван. Люди эти будут сажать в экипаж и высаживать барина; они же будут носить его в кресле, потому что ходить Василию Алексеевичу, даже на костылях, было очень затруднительно.

Наш больной с нетерпением ожидал выезда из Отрадного. Мысль о предстоящем путешествии занимала Василия Алексеевича. За последнее время он только и жил, что этой мыслью. Он мечтал о скором избавлении от недуга. Доктор



Овер его уверил, что пятигорское лечение делает чудеса, что там излечиваются самые отчаянные больные.

Старик Сухоруков принял меры снабдить сына всем необходимым для далекого путешествия. Не пожалел старик и денег Василию Алексеевичу. Алексей Петрович надавал сыну разных наставлений; он советовал Василию беречься от простуды при лечении горячими ваннами; он слышал, что в Пятигорске бывают резкие переходы от жары к холоду. На прощание перед самым отъездом Алексей Петрович крепко обнял сына.

– Буду ждать тебя, милый Васенька, выздоровевшим, – сказал он. – Надеюсь, ты приедешь таким же веселым и жизнерадостным, каким ты был всегда, и мы с тобой опять заживем на славу.

Выехал Василий Алексеевич из Отрадного в начале мая. Путь его лежал на Воронеж, Новочеркасск и Ставрополь Кавказский. Часть этого пути до Воронежа он ехал по шоссе, которое тогда только что было отстроено. От Воронежа пришлось ехать уже по нешоссированному тракту, по так называемой большой дороге.

Через две с половиной недели утомительного путешествия Василий Алексеевич добрался наконец до Ставрополя. В Ставрополе находился тогда административный центр завоеванного Кавказа. Там пребывал также и штаб кавказской армии. Василий Алексеевич решил отдохнуть в Ставрополе, пожить там по крайней мере дня два. Очень уж он

утомился за свой длинный путь. В Ставрополе была сравнительно недурная гостиница с громким названием «Париж». В этой гостинице и остановился молодой Сухоруков.

Дормез Василия Алексеевича подкатил к ставропольской гостинице часов в одиннадцать утра. Люди вынули больного из экипажа, усталого и запыленного с дороги.

Когда люди проносили его в кресле по широкому коридору гостиницы, то произошла неожиданная встреча. Процессия с Сухоруковым столкнулась с видным красивым офицером, вышедшим только что из своего номера. В этом офицере, одетом в адъютантскую форму, Сухоруков сейчас же узнал бывшего товарища по полку, Михнева, которого он не видел после выхода своего в отставку. Михнев был не только товарищем Сухорукова по полку, но и однокашником по университетскому пансиону. Василий Алексеевич не вытерпел, чтобы его не окликнуть.

Услыхав свою фамилию, услышав, что его назвал какой-то штатский господин, которого так торжественно люди несли по коридору, офицер с удивлением обернулся и стал вглядываться в больного, сидящего в кресле.

– Да ведь это Вася Сухоруков! – удивился Михнев, узнавая старого товарища. – Что это ты? Что с тобой? Ходить не можешь?.. Вот встреча-то!

– Еду в Пятигорск лечиться, – отвечал Сухоруков.

– И я тоже в Пятигорск еду... Очень рад тебя видеть... Да вот что, Сухоруков! Я к тебе вечером в твой номер приду чай

пить... Сейчас к генералу спешу... Вот и поговорим... Да, как же ты переменялся!.. Только глаза твои те же цыганские по-старому блестят... Помнишь, мы тебя в пансионе цыганом звали?..

– Как не помнить!.. Все помню, – отвечал оживившийся Сухоруков. – С нетерпением ждать тебя буду... Непременно заходи!

– Жди в семь часов! – крикнул на ходу Михнев. Люди понесли больного дальше по коридору. Василий Алексеевич встрепенулся от этой встречи.

Воспоминания о Михневе, об этом лихом гусарском офицере с молодецким «закалом», с неустрашимостью при разных ухарских предприятиях, которые были тогда часты в кутящей офицерской среде, воспоминания эти охватили молодого Сухорукова.

«Я начинаю оживать на Кавказе. Тут будут интересные встречи», – подумалось ему.

Слуги внесли барина в номер, усадили его на диван, а сами стали переносить из дормеза вещи. Василий Алексеевич оглядывал комнату. Она была просторная и, в общем, терпимая. Одно только резало глаза в этой комнате – странные обои: какие-то желтые с синими полосами и с изображением бесчисленного количества аркадских пастушков и пастушек в неестественных позах. Впрочем, Василию Алексеевичу было не до критики этих странностей. Он порядочно измучился в дороге, был рад и этой комнате.

Разложив вещи, Захар подвинул к Василию Алексеевичу табурет с рукомойником и тазом. Началось умывание барина. Ему за последний период пришлось-таки наглотаться пыли. Наконец барина умыли, переменяли ему белье, хотели подать завтрак, но усталому Василию Алексеевичу было не до еды. Он решил прежде всего отдохнуть; надо было выспаться. Бока его болели от бесконечного дорожного сидения.

Вечером пришел, как обещал, Михнев. Сухоруков, в ожидании старого товарища, сидел на маленьком балкончике своего номера. Номер этот выходил в сад гостиницы. Сухоруков пил чай, который ему полагал Захар. Захар был за хозяйку; он обо всем заботился. Михнев уселся тоже на балкончике. Ему подали чай. Приятели разговорились.

– Что это у тебя... ревматизм? – спрашивал Михнев.

– Доктора сами не понимают моей болезни, – отвечал Василий Алексеевич. – Один говорит, что это нервный удар, другой все объясняет простудой. Я решил ехать в Пятигорск по совету доктора Овера. Надеюсь, что серные ванны помогут. Ну да что обо мне говорить! Это неинтересно. Ты объясни, как ты сюда попал? Какое твое положение?

– Положение мое прекрасное... Состою при штабе, – самодовольно проговорил Михнев. – Мне, что называется, повезло. Приятель моего отца теперь здесь корпусом командует. Отец начал хлопотать – меня и перевели сюда в штаб.

Михнев стал рассказывать Сухорукову подробности, как

все это случилось. Он между прочим упомянул, что едет завтра утром в Пятигорск, где стоит казачья дивизия. Сухоруков стал спрашивать Михнева о Пятигорске. Михнев сообщил, что съезд больных уже начался, что в Пятигорске бывает довольно весело. Из последних новостей было то, что на днях проехал через Ставрополь из Петербурга их товарищ по университетскому пансиону Лермонтов.

– Как, Лермонтов опять на Кавказе?! – воскликнул Сухоруков. – Да ведь его недавно вернули с Кавказа. Мой отец видел его в Петербурге...

– Опять его, милый друг, выслали, и ментик гусарский с него сняли. Опять сюда к нам он приехал. Он теперь в Тенгинский полк переведен...

– Да почему все это произошло? – удивлялся Сухоруков.

Михнев стал рассказывать последнюю историю Лермонтова, случившуюся в Петербурге. Лермонтов дрался на дуэли с сыном французского посланника Баранта. Великий князь Михаил Павлович за эту дуэль очень рассердился на Лермонтова; он и настоял, чтобы Лермонтов был выслан.

– Мне жаль Лермонтова, – сказал Сухоруков. – Я его всегда любил. Меня к нему всегда притягивало... Словно судьба его преследует...

– Чего его жалеть! – проговорил с усмешкой Михнев. – Кабы ты его видел... Он и в ус не дует. С ним сюда приехал Алексей Столыпин; тот его провожает... Помнишь... этот красавец? Мы вместе с ним в Москве тоже учились.

– Да знаю я его! – отвечал Сухоруков, но ему не хотелось сейчас говорить ни о ком другом, кроме Лермонтова. – Ведь, как хочешь, поразительны все эти истории с нашим поэтом, – продолжал он высказывать свои мысли. – Подумай только: первая высылка Лермонтова на Кавказ из-за его стихов на смерть Пушкина, теперь его высылают из-за этой дуэли... Какие все это для него удары!..

– Задира он, твой Лермонтов! Оттого у него и судьба такая, – решил Михнев. – Способен он резаться с первым встречным из-за всякого вздора. У него страсть кусаться, язвить всех остротами, колкими шутками...

– Но стихи его... стихи! Ты мне о стихах его скажи, – волновался Сухоруков. – Ведь это же силища какая!.. Что ж! Пожалуй, оно хорошо даже, что Лермонтов опять на Кавказе, – сказал, подумав, Василий Алексеевич. – Он на Кавказе в стихах разгуляется. Будет ему о чем писать. Я читал одну его кавказскую поэму. Что за талант!..

– Вижу я, ты совсем очарован Лермонтовым, – проговорил Михнев. – И знаешь что? Ты, может быть, даже увидишь его в Пятигорске. Он, должно быть, сейчас там; по дороге в свой полк он собирался туда заехать. Если я его там встречу, я ему скажу, что ты здесь. Он тебя навестит... Он, я помню, был с тобой всегда хорош. Кажется даже, это он тебя прозвищем цыгана окрестил...

Приятели долго сидели на балкончике. Они оба были в настроении делиться впечатлениями. Вспоминали свою жизнь

в университетском пансионе, службу в Елизаветградском гусарском полку, когда они вместе стояли в Польше, – какие у них там были приключения, и еще о многом другом говорили наши собеседники. Время летело быстро. Друзья и не заметили, как стемнело, как загорелись звезды на синем прозрачном небе. Сухоруков совсем забылся в этой беседе. Ему так хорошо чувствовалось в этот вечер со своим старым товарищем.

## IX

На другой день рано утром Михнев уехал из Ставрополя. Отдохнув, и Сухоруков двинулся дальше к цели своего путешествия. От Ставрополя ему оставалось ехать всего около полутора верст, и он добрался до Пятигорска в двое суток. Дорога от Ставрополя сделалась живописнее. Раньше Сухоруков ехал по ровной степи, теперь показались гористые отроги и так называемые балки. Вдали на горизонте была уже видна блестящая цепь Кавказских гор. Скоро Сухоруков добрался до Железной горы. Наконец показался и Пятигорск, небольшой городок, расположенный у подошвы Машука.

Благоустройство Пятигорска, куда ввезли Василия Алексеевича в его дормезе, было в те времена очень примитивно. Мостовых в городе не было. Дома были маленькие, больше деревянные; каменных зданий в Пятигорске было немного –

все они были, как говорится, наперечет. Между ними выдавались грандиозностью Казенная гостиница и Николаевские ванны. Здание Казенной гостиницы, к которой подъехал сухоруковский дормез, удивило Василия Алексеевича красотой и выдержанностью стиля. Хоть бы в Петербурге быть такому зданию! Оно было увенчано фронтоном, поддерживаемым шестью колоннами.

На счастье, в гостинице оказалось место для остановки. Как только Василий Алексеевич устроился в этой гостинице, он поспешил послать человека с запиской к главному врачу при горячих источниках, господину Гефту. Записку эту Василий Алексеевич написал не без труда; он только недавно научился писать левой рукой, которая у него не была парализована. Василий Алексеевич извещал господина Гефта, что он к нему обращается по совету московского доктора Овера. Он просил Гефта приехать в Казенную гостиницу и указать ему, Сухорукову, порядок лечения в Пятигорске.

Гефт не заставил себя долго ждать. Он прибыл в тот же день, осмотрел больного и дал ему надлежащие советы насчет ванн. Кроме этого, он прописал Сухорукову ежедневное питье серной воды из Елизаветинского источника. В то время пятигорские доктора верили в целебное действие от питья серной воды. Они заставляли больных пить эту воду, несмотря на ее отвратительный вкус. Только потом медициной было выяснено, что подобное лечение в сущности совершенно бесполезно.



Василий Алексеевич горячо взялся за лечение, указанное Гефтом. Доктор Гефт обещал Сухорукову, что он поставит его на ноги через месяц.

## Х

После приезда Сухорукова в Пятигорск совершилось событие, которое оставило свой след на больном. Василий Алексеевич увидался с Лермонтовым. Михнев не ошибся, сказав больному, что Лермонтов у него будет. Ко времени приезда Сухорукова Лермонтов не уезжал еще из Пятигорска. Когда он узнал, что Сухоруков остановился в Казенной гостинице, он решил навестить старого приятеля. Лермонтов пришел к Василию Алексеевичу не один, а со своим другом Алексеем Столыпным, который тоже знал по пансиону нашего больного.

– Вот он где, цыган Сухоруков, сидит! – проговорил Лермонтов, входя в комнату к Василию Алексеевичу, который в это время старательно выводил за письменным столом буквы и слова послания своего к отцу о благополучном прибытии в Пятигорск. – Вот где наша забубённая голова приютилась! Мы пришли на тебя, Сухоруков, посмотреть – каким Сухоруков теперь выглядит...

Сухоруков оторвался от письма. Узнав Лермонтова, он ему обрадовался чрезвычайно. Глаза заблестели, улыбка озарила лицо.

– Лермонтов! Ты пришел!.. Какое счастье! – Сухоруков не верил глазам, что у него сам Лермонтов.

– Подожди радоваться, – улыбнулся Лермонтов. – Радости наши плохие... Нет, ты погляди, Столыпин, как Сухоруков переменялся! – сказал он своему другу.

– Если бы ты знал, какое мне счастье видеть тебя! – продолжал изливать свои восторги Василий Алексеевич. – Я всегда чувствовал, Михаил Юрьевич, твою силу и обаяние... Я чувствовал тебя, когда еще наши тебя не понимали. Только теперь все начинают признавать тебя. Теперь все признают поэта Лермонтова, прямого наследника великого Пушкина!

– Ты недурно начинаешь беседу, – сказал шутливо Лермонтов. – Начинаешь ты, что называется, за здравие... Это очень хорошо! Как бы только не свести нам разговоры за упокой... Я тебя буду расхолаживать.

– Оставь, Лермонтов! – вмешался Столыпин. – Довольно уж мы киснем и злимся... Видишь, Сухоруков ожил от твоего прихода... Не порть ему настроение...

– Что делать, Столыпин!.. Такое уж мое призвание – портить у всех настроение, – проговорил Лермонтов. – Что делать, мой друг! Это моя страсть – смущать веселость даже тех, кого я люблю, хотя бы вот веселость Сухорукова. Он, бывшее время, тешил меня своей гитарой и песнями, а теперь он этого делать не может, ибо это ему запрещено милым провидением и запрещено это ему совершенно так же, как мне запрещено начальством печатать мои песни. Мы с ним в од-

ном и том же дурацком положении.

– Опять началось! – с неудовольствием произнес Столыпин. – Скучно это, Лермонтов.

– И скучай, голубчик!.. Так надо. Я вот сегодняшней ночью стихи о скуке набросал и знаю, что Сухоруков эти стихи мои почувствует, и они ему понравятся, потому что он такой же, как я, повязанный, умом голодный и сердцем усталый... А ты вот сытый... и душа твоя светла, как у младенца... Так тебе стихи мои, конечно, будут не по нутру...

– И неверно это, – возразил Столыпин. – Ты знаешь, что я твои стихи люблю...

Приятель начал просить Лермонтова прочитать эти стихи.

Лермонтов вынул из кармана сложенный вчетверо листок почтовой бумаги, развернул его и прочел:

И скучно, и грустно, и некому руку подать  
В минуту душевной невзгоды...  
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..  
А годы проходят – все лучшие годы!  
Любить... но кого же?.. На время – не стоит труда,  
А вечно любить невозможно.  
В себя ли заглянешь, – там прошлого нет и следа;  
И радость, и муки, и все там ничтожно...  
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг  
Исчезнет при слове рассудка;  
И жизнь, как помотришь с холодным вниманьем вокруг,

—  
Такая пустая и глупая шутка...

— Кто может подумать, — сказал с досадой Столыпин, выслушав прочитанное Лермонтовым, — что написал все это безотрадный юный офицер, сам большой повеса, полный здоровья и энергии, у которого в крови огонь кипит, которому едва стукнуло двадцать шесть лет... Это совершенно невероятные стихи, Лермонтов!..

— Я знал, — отвечал поэт, — что стихи эти тебе не понравятся... Поэтому я и не хотел их тебе читать...

— Дай мне эти стихи, Михаил Юрьевич, — сказал вдруг Сухоруков. — Я их себе спишу... Стихи эти поразительны по силе и правде...

— Хоть совсем можешь их взять, — проговорил Лермонтов. Он протянул Сухорукову листок. — Я эти стихи и без бумажки вспомню.

Сухоруков с благоговением принял эту драгоценность из рук Михаила Юрьевича, он бережно взял ее левой рукой, дрожавшей от волнения.

Не без печали во взоре смотрел поэт на Сухорукова, смотрел, как тот медленно складывал листок дрожащей рукой и старался получше его запрятать в свой бювар, и по лицу Лермонтова скользнула жалость к старому приятелю.

— Скажи ты мне, забубённый мой цыган, — проговорил Лермонтов, — что это с тобой сделалось? Что это за болезнь?

Отчего все это приключилось?

– Отчего приключилось? – повторил Сухоруков. – Да от дьявола все... От твоего демона, – произнес он с усмешкой. – От того и приключилось... Он ко мне прикоснулся...

– Я тебя серьезно спрашиваю, – сказал Лермонтов.

– И я серьезно отвечаю, – проговорил Сухоруков. – Можешь мне верить или не верить, – начал он совсем уж серьезно, – но я тебе всю правду скажу. От злой силы все это произошло... И эта злая сила существует вот так же, как и ты, и я существуем, и, может быть, она, эта злая сила, сейчас здесь, в этой комнате, вместе с нами...

– А Бог существует? – не без иронии прервал Сухорукова Лермонтов.

– Не знаю, существует ли Бог, – отвечал Сухоруков, – но знаю, что дьявол живет, и живет он не только в твоём воображении, а живет реально, сам по себе. В этом я убедился и постоянно убеждаюсь...

– Ого! Да он – мистик... это интересно! – воскликнул Лермонтов. – Послушай, Монго,<sup>2</sup> – обратился он к Столыпину, – как ты Сухорукова находишь? Не правда ли, он интересен, наш милый цыган?.. Будь у меня время, я бы с ним об этих сюжетах поговорил всерьез. Беда только, что нам со Столыпиным спешить надо и что сегодня я должен ехать в полк... – Лермонтов посмотрел на часы. – Да! Мне вот сейчас надо собираться, и я не могу опаздывать. Прощай, Сухоруков, не

---

<sup>2</sup> Прозвище Столыпина, которое ему дали товарищи.

поминай нас лихом... Столыпин, двигаемся!..

Лермонтов и Столыпин встали, чтобы уходить.

Сухоруков протянул руку друзьям.

– Прощай, Лермонтов! Прощайте, Столыпин, – грустно сказал он. – Увидимся ли еще?..

– Не знаю, как ты, – отвечал Лермонтов, – а я все сделаю, чтобы уменьшить вероятность нашего следующего свидания... Я, во всяком случае, постараюсь жить как можно короче, постараюсь, милый друг, найти благодетеля, который избавит меня от тягости жизни...

– И что с ним сегодня! – проговорил Столыпин, – какой-то он словно отчаянный. Не слушайте его, Сухоруков. Это он только сегодня такой!.. Сегодня он с левой ноги встал...

Они вышли.

Сухоруков остался один в комнате. Он сидел несколько минут неподвижно в глубокой задумчивости, сидел, словно в каком-то гипнозе, навеванном на него речами Лермонтова. Наконец он очнулся, схватил со стола бювар и стал искать автограф, который оставил поэт. Ему захотелось вновь перечитать эти поразившие его стихи, захотелось выучить их наизусть. «Любить? но кого же? – перечитал он еще раз в этих стихах. – На время – не стоит труда, а вечно любить невозможно...»

– Да, это именно так!.. И все мое как бы проснувшееся чувство к Ордынцевой, весь этот голод любви есть в сущности мираж, как и все в нашей жизни, – подумалось ему. – И

я с этими моими мечтами только смешон... Воистину, все эти любовные миражи труда нашего не стоят, а вечно любить невозможно... Да, страшно правдив Лермонтов! Одного только он не знает – не знает он, кто над нами в жизни шутит... И от кого человеку приходится отщучиваться. Ему чудится, что его демон – его воображение, а между тем мы в когтях реальной злой силы, которая нас мучает, и мы барахтаемся с ней, бессильные...

## XI

Мы выше говорили, что Сухоруков горячо принялся за лечение, указанное ему доктором Гефтом. Лечение это заключалось в том, что каждое утро в определенные часы Василия Алексеевича приносили из Казенной гостиницы в Николаевские ванны, которые находились тут же невдалеке, и затем его выдерживали в горячей серной ванне по десять минут. Но вот больной принял уже много таких ванн, а они все не оказывали действия на его парализованные ноги и не развязывали его скованной руки. Не помогла Сухорукову и серная вода из Елизаветинского источника, которую он ежедневно пил. Вкус этой воды был отвратительный, и она привела лишь к тому, что аппетит Василия Алексеевича, и без того слабый, был совсем потерян.

Доктор Гефт, навещавший каждый день больного, внимательно его осматривал, выстукивал, выслушивал, заставлял

больного становиться на ноги с помощью костылей, заставлял его двигаться с помощью людей, исследовал при этом его мускулы. Казалось, что каждый раз, при каждом своем визите, доктор ждал начала улучшения, ждал, что вот-вот мускулы ног больного оживут, что ноги его получат волю и движение, но дни проходили, и положение больного не улучшалось. В таком безрезультатном лечении прошел целый месяц.

Василий Алексеевич начинал разочаровываться в лечении доктора Гефта. Очевидно, Гефт не понимал болезни Сухорукова, подводя ее под шаблон ревматиков и паралитиков, которых он до сих пор успешно пользовал в Пятигорске. Очевидно, основы болезни Василия Алексеевича крылись в иных причинах, которых не понимал доктор, не понимал он того, что эти причины могли исходить из особой, так называемой подсознательной сферы, на которую господа специалисты только в последнее время начинают обращать внимание.

Молодой Сухоруков при своей болезни не ощущал в парализованных ногах и скованной правой руке какой-либо боли; он чувствовал их как бы онемевшими, поэтому физических страданий у него не было. Но охватывающая его в иные дни тупая тоска была мучительнее физического недомогания.

Василий Алексеевич переносил в Пятигорске смертельную скуку. Ведь надо же было ему чем-нибудь жить в течение тех часов, когда он не лечился и не предавался сну. Библиотеки в Казенной пятигорской гостинице не было, тогда



как в Отрадном в этом отношении было полное богатство. В Отрадном были и другие интересы, которыми больной мог все-таки наполнять свое время. Там ежедневно навещал Сухорукова отец, человек живой и остроумный, развлекавший сына, как только мог. Отца своего Василий Алексеевич любил. Хотя молодой Сухоруков и не был к нему особенно близок, близок настолько, чтобы делиться с ним задушевными своими мыслями, но все-таки каждое свидание с отцом будило его ум. Иногда отец расшевеливал его до веселого смеха. Затем наезжали в Отрадное гости, дававшие пищу хотя бы для их осуждения. Наконец, были там и компаньоны вроде Лампи, который был недурной музыкант. Здесь же, в Пятигорске, все, кого ни встречал Василий Алексеевич, были ему совершенно чужды. Встреча с Лермонтовым и Столыпиным явилась единственным исключением на фоне его одиночества. Лермонтов и Столыпин блеснули для Сухорукова, как метеоры, и сейчас же исчезли. Не пришлось видеть Сухорукову и Михнева. Тот, оказывается, как и другие военные, уехал в горы. Там тогда затевалась большая экспедиция против непокорных чеченцев. Между тем, новых знакомых в Пятигорске Василий Алексеевич не заводил. За время своей болезни он совершенно потерял способность завязывать отношения с людьми. Ему казалось, что он стал для других неинтересен, что он может только стеснять своим знакомством, и это делало его нелюдимым. Да и вправду, кому он теперь был нужен со своим унылым видом и скрюченной ру-

кой, расслабленный, которого иногда выносили из номера в общую обеденную залу гостиницы, сажали за особый стол и кормили, как ребенка... Других таких тяжелых больных в гостинице не было.

Иногда в общей зале гостиницы, игравшей в те времена роль клуба, собиралось по вечерам общество, собиралась молодежь. Устраивались танцы, играли в карты; оттуда в комнату Василия Алексеевича доносились звуки музыки и шум веселящихся. Но его не тянуло посещать эти собрания. Шум из зала и общее там оживление не действовали на Василия Алексеевича развлекающим образом. Наоборот, это веселье и шум только усиливали его раздражение. «Вот они там наслаждаются жизнью, — думалось ему, — а я должен пребывать в сознании, что жизнь отравлена для меня... Надежда на исцеление стала меня оставлять... и просвета в моем положении я не вижу, несмотря на всяческие ободрения доктора Гефта...»

Здесь надо сказать, что на безотрадное настроение нашего больного оказало немалое влияние свидание его с Лермонтовым, которое мы описали выше, свидание, к которому Сухоруков так стремился. Его сильно тянуло к Лермонтову, к этому гиганту мысли. Сухоруков думал найти в нем умственный для себя просвет... И что же он нашел в этом человеке? Лермонтов своими тирадами только укрепил Сухорукова в его отчаянии, ибо что могло быть безотраднее мысли, что жизнь есть пустая и глупая шутка... Фраза эта начинала

делаться навязчивой идеей больного. Она парализовала порывы к религии, проснувшиеся было у Василия Алексеевича. Сердце его теперь словно окаменело, и все ему казалось противным и скучным...

Прошло полтора месяца проживания Василия Алексеевича в Пятигорске. На жалобы больного о неэффективности лечения доктор Гефт только пожимал плечами и высказывал удивление, что болезнь так упорна. Впрочем, он старался, как только мог, утешать больного. По его мнению, надо будет непременно повторить курс лечения в будущем году, и после повторения курса лечения Василий Алексеевич непременно поправится.

## XII

Подходил август месяц. Василий Алексеевич думал об отъезде из Пятигорска. На этом настаивал и камердинер Захар, совершенно возненавидевший Пятигорск и доктора Гефта. «Они только вас, барин, обманывают, эти доктора, – говорил он Василию Алексеевичу, – и деньги с вас даром берут... Бросьте вы это ихнее лечение. Посмотрите вы, сударь, на себя... Какие вы здесь, в Пятигорске, стали... Куда лучше у нас в Отрадном!.. Там вольготно, и для вас там все удобства... Болезнь ваша, коли Богу угодно будет, сама без доктора пройдет... Ведь вы еще молоды, сударь!.. Прикажете-ка наш дормез в дорогу излаживать да почтовых лошадей

брать».

И вот, несмотря на то, что Гефт посылал Василия Алексеевича еще в Кисловодск для завершения курса лечения на питье знаменитого нарзана, наш больной не послушался – влияние Захара оказалось сильнее. В один прекрасный день Сухоруков выехал из Пятигорска прямо к себе в Отрадное.

Невеселый сидел Василий Алексеевич в своем дормезе, совершая обратный путь по той же дороге, по которой он ехал сюда, полный надежд на выздоровление. Он уныло смотрел по сторонам дороги, смотрел на бесконечную ровную степь с пасущимися кое-где стадами, с проносившимися мимо редкими селениями и вкрапленными в степь обработанными полями. Казалось, теперь дорога эта тянулась бесконечно... Но вот остановка... Вот перепряжка лошадей на станции, руготня Захара с ямщиками, разговоры со смотрителем и опять дальше и дальше... Затем ночевка при страшной усталости, и так без конца... «Жизнь есть пустая и глупая шутка», – повторял не раз Василий Алексеевич во время своей дороги, и в душе его, выражаясь словами того же поэта, «царил какой-то холод тайный», и все казавшиеся ему ранее радости в его глазах таяли. Они превращались в горькие воспоминания. Все его эротические забавы: завладения им крепостными девками, кончая грустной историей с Машурой, все эти бессмысленные его анекдоты со светскими дамами и, наконец, гадкая история с Еленой Ордынцевой... А жизнь в полку! Если ее вспомнить, что это такое было?..

Разврат, чувственность и пьяное веселье... Бахвальство и хвастовство перед товарищами... Презрение к солдатам как к существам низшим... Битье по зубам, когда разыгрывалось злое сердце, никем и ничем не сдерживаемое... У них же, у этих людей – рабская покорность, безропотность и полная потеря человеческого достоинства... – и это жизнь!.. И это не пустая и не бессмысленная шутка!.. И хорошо еще, если бы жизнь эта была только глупой шуткой, а шутка эта еще вдобавок и злая. Болезнь, которая его, бывшего год назад полным сил, теперь так измучила, разве это не злая, ужасная шутка!..

Бесконечно, казалось, тянулось путешествие нашего больного. Так, усталый и измученный, сделал Василий Алексеевич уже более тысячи верст.

Но вот недалеко от Воронежа, лежавшего на пути Сухокурова в Отрадное, верстах в двадцати не доезжая этого города, произошло маленькое событие, задержавшее путешествие больного.

В дормезе Василия Алексеевича лопнула рессора. Событие это, очень незначительное само по себе, запомнилось Василию Алексеевичу, потому что при последовавшей остановке в пути ему пришлось пережить памятную ночь, пришлось пережить нечто для него очень важное и значительное. Об этой ночи и о том, что произошло после нее, Василий Алексеевич вспоминал всегда с большим волнением.

Поломка экипажа случилась, когда дормез проезжал че-

рез большое селение, где оказалась отвратительная дорога от пронесшегося недавно ливня и от больших выбоин, наделанных прошедшим через селение обозом. Ехать дальше в сломанном экипаже было нельзя. Пришлось задержаться в этом селении. На счастье Василия Алексеевича, здесь нашелся кузнец, который взялся сварить и укрепить сломанную рессору. И вот с этой задержкой Василию Алексеевичу пришлось ночевать в селении вместо той ночевки, которую он предполагал сделать в Воронеже. В селении оказался постоянный двор. На этом постоялом дворе Василий Алексеевич и решил основать свое временное пристанище, пока его дормез не будет исправлен.

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## I

Когда люди внесли Сухорукова в комнату постоялого двора, он не мог не обратить внимание на предмет, находившийся в этой комнате и резко выделявшийся из всей ее обстановки. Взор Сухорукова остановился на образе, висевшем в углу комнаты прямо против входа. Образ был ясно виден и показался интересным Василию Алексеичу. Он был довольно большой и похож скорее на портрет, чем на икону. Живопись была свежа; в ней чувствовался некоторый талант. Писал его, надо полагать, какой-нибудь местный даровитый самоучка. Изображал образ седого, как лунь, старика с выразительными чертами лица, державшего в правой руке архиерейский посох. Голова старика была покрыта черным покрывалом, сливавшимся с мантией, в которую он был облечен. На покрывале, на лбу святого был вышит белый восьмиконечный крест.

– Что это за икона? – спросил Сухоруков у хозяйки постоялого двора, хлопотавшей тут же вместе с сухоруковскими людьми над устройством комнаты для постояльца.

– Да это Митрофания икона, – отвечала хозяйка. – Разве вы, барин, не узнали? У нас в Воронеже в соборе такой же

его образ висит.

– Это которого не так давно мощи открывали? – проговорил Сухоруков.

– Его самого, батюшка, его самого. Нам в Воронеже один живописец эту икону за пятнадцать рублей отдал. Уж такая-то она хорошая!..

Сухоруков еще раз посмотрел на икону. «Какие в самом деле таланты между доморощенными живописцами попадаются», – подумал он.

Между тем люди Сухорукова приводили горницу в порядок. Скоро она преобразилась. Много было вынесено, мебель переставлена. Захар знал вкусы своего барина. В одном из углов комнаты было настлано свежее сено. Там Василию Алексеевичу приготовили чистую постель. У противоположной стены на столе кипел самовар. Захар, как и всегда, был за хозяйку. Василия Алексеевича усадили к окну, которое было открыто, подали трубку.

Когда все было устроено, хозяйка остановилась у двери. Она была словоохотлива. Ей хотелось поговорить с баринном. Это было ее развлечение – занимать разговорами постояльцев.

– Вы, барин, надо полагать, из дальних будете? – начала она. – В Воронеже-то еще не бывали... Вот увидите там собор наш, где Митрофаний лежит. Уж такой-то собор большой, и сколько там народу... И какие там чудеса бывают!..

– В городе мы останавливаться не будем, – сказал Сухо-



руков. – Мы мимо поедем, только лошадей переменим.

– Вишь ты! – удивилась хозяйка. – Спешите вы, значит, куда в другое место, а я думала, вы к угоднику...

В это время Захар, который подавал барину чай, остановился перед Василием Алексеевичем и тихо проговорил:

– Заехать-то к угоднику нам надо бы, сударь... очень бы это надо!.. – Он покачал головой. – Как так, сударь, мимо такого места проезжать... Когда в Пятигорск ехали – не заезжали... и теперь мимо хотите...

Сухоруков сердито взглянул на слугу. Ему было очень не по себе, а тут Захар лезет с непрошеными советами. Он решил оборвать Захара:

– Ты мне надоел, – сказал он, – не лезь и делай свое дело!.. Мне и без тебя тошно...

Захар поставил перед барином стакан с чаем и отошел в сторону. Но он, как видно, не мог уняться, стал вздыхать глубоко и громко. Наконец не вытерпел и проговорил:

– Господи! Да вразуми же Ты его! Господи, спаси нас и помилуй! – Захар перекрестился.

– Убирайся вон со своими вздохами, – вспыхнул внезапно Василий Алексеевич. – Ты много себе позволяешь, Захар, и это может для тебя плохо кончиться...

– Что ж, прогоните? – с горечью проговорил слуга.

– Коли будешь лезть со своими непрошеными советами, так и прогоню.

– Это меня-то прогоните, который вас на руках нянчил!..

Бога вы, сударь, совсем потеряли, вот что!..

– Захар, уйди! – закричал уже вне себя Сухоруков. – Слышишь, убирайся!..

Старый слуга вышел. Испуганная, вышла за ним и хозяйка, невольная свидетельница этой сцены.

Сухоруков остался один, рассерженный. Нервы его были не в порядке, а тут еще этот дурак полез так некстати... «Что за мученье! – роптал Сухоруков. – Когда только эта отвратительная жизнь кончится!..»

Наступил вечер, стало темнеть. Василий Алексеевич был рад, что день близится к концу. «Авось ночью засну, – думалось ему, – забудусь хотя во сне...»

## II

Наконец желанная ночь пришла. Сухорукова уложили в постель на полу комнаты. Долго вертелся он на импровизированном ложе. Долго ему не спалось. Тихо было в комнате, тихо было и на улице. Стояла темная ночь.

Неотвязчивые тяжелые мысли роились в голове больного, и в голову его стала внедряться злая идея, что если жизнь его имеет ценность отрицательную, как «глупая и пустая шутка», то не лучше ли было бы вовсе избавиться от нее, от этой жизни... Ведь та единственная добрая сила, в которую он верил, его мать, оставила его. Да и не мираж ли все это воображение о матери, в которую он там уверовал? Не злая ли

сила подшутила тогда над ним в ее видении? И не царствует ли в этом мире один только диавол?.. Один он нераздельно властвует и мучает людей...

И с каким-то словно облегчением для своей тоски стал мечтать Василий Алексеевич о том, как было бы хорошо, если бы он, теперь заснув, никогда не просыпался.

Мучимый тяжелыми думами, Василий Алексеевич забылся, наконец, в охватившем его сне.

И вдруг он видит в этом сне, что в окружающей его темноте стал светиться перед ним лик какого-то старика с нависшими седыми бровями и с черными глазами, которые пристально на него смотрели. Лицо и вся фигура старика делались все ясней и ясней. Старик этот ничего не говорил, а только упорно смотрел на него. И вдруг движением правой руки перекрестил его, Сухорукова, широким крестом совершенно так, как крестила его когда-то мать, укладывая в постель и читая ему молитвы. Потом видение исчезло. «Как это странно, – думал в забытьи Василий Алексеевич, – я никогда раньше не видел этого старика». Но вот еще новый сон охватил больного. Он видит икону Митрофания – ту самую, которая висит на постоялом дворе, и перед ней его Захар молится. Но икона эта точно выросла, сделалась больше, и ее освещает целый ряд висящих перед ней лампад. «Барин, дорогой мой, – говорит Захар, – приложись к угоднику! Он тебя исцелит». Затем и эта картина сна исчезла... И Василий Алексеевич проснулся.

Он проснулся, и что его удивило – в утреннем брезжущем свете, проникшем в комнату постоялого двора, он увидел Захара, стоящего перед иконой Митрофания. Сон точно продолжался наяву... Старый слуга молился перед образом; уста его что-то шептали, и он клал земные поклоны.

Потом Василий Алексеевич опять заснул и заснул уже крепко и спокойно, без каких бы то ни было видений.

Когда он очнулся от утреннего сна, в комнате было светло. Лучи солнца играли на полу, с улицы доносился шум проезжавших телег.

В комнату вошел Захар. Увидев его, Василий Алексеевич почувствовал угрызение совести, что он вчера так дурно обошелся со слугой. И он начал стараться загладить перед Захаром вчерашнее свое поведение. Это чувствовалось во всем, что исходило от Сухорукова, – и во взглядах Василия Алексеевича, которые он бросал на своего слугу, и в тоне его приказаний, наконец, в самом его обхождении с Захаром. Василий Алексеевич чуть-чуть не был даже готов просить прощения у старого слуги. Сегодня он понял более, чем когда-нибудь, какая была сильная связь у него с Захаром. «Да, я именно раб Захара! – думалось ему, – и Захар – единственный человек, которого я действительно люблю».

Захар, со своей стороны, совсем не подавал вида, что чем-нибудь недоволен. Отношение его к больному осталось то же, что и всегда. Это было отношение няньки к ребенку, без которого она не может жить.

Починили, наконец, дормез и привезли его к постоялому двору. Захар пошел хлопотать по селу, искать лошадей. Подали и лошадей, которых пришлось нанять у вольных ямщиков. Запрягли экипаж, и Василий Алексеевич двинулся в свою дальнюю дорогу.

Сегодня Сухоруков чувствовал себя лучше вчерашнего, как бы свежее. Мрачные мысли о власти темной силы и о самоубийстве, которые стали было приходить к нему в голову, сегодня оставили его. Мир Божий не казался ему невыносимым.

Покачиваясь от быстрой езды в дормезе, Василий Алексеевич с хорошим чувством смотрел на своего слугу, который сидел напротив. Захар клевал носом от охватившей его усталости, в забытьи полусна. «Бедный старик, он всю эту ночь не спал», – думал про Захара Василий Алексеевич.

Сухоруков не вспоминал о своих сегодняшних ночных сновидениях. Мало ли что иногда снится! Эти сновидения, казалось, бесследно изгладились из его памяти.

Так путники подъезжали к Воронежу, который показался вдали, блестя своими церквями и белыми зданиями.

Мы уже знаем, что Василий Алексеевич вчера решил не останавливаться в городе, и этого решения он сегодня не изменил. Когда дормез въехал в город, Василий Алексеевич приказал ямщику миновать главную улицу и гостиницу, где все останавливались, ехать прямо на почтовую станцию и там перепрягать лошадей. Сухоруков не будет даже вылезать

из экипажа и, как только сделают перепряжку, сейчас же двинется дальше.

Все шло, как предполагал Василий Алексеевич. Никакой задержки на почтовой станции не оказалось. Лошади там попались хорошие; они быстро повезли дальше наших путников. Дормез понесся к городской заставе.

### III

Экипаж выехал на так называемую Московскую улицу и на повороте неожиданно остановился. Сухоруков выглянул в окно. Направо от себя он увидал высокую колокольню и большие ворота с иконой под навесом наверху ворот.

– Что это! С чего мы остановились? – крикнул Сухоруков.

Один из сухоруковских слуг, Матвей, сидевший на козлах рядом с ямщиком, соскочил на землю и подошел к окну дормеза, откуда выглядывал Василий Алексеевич. Он стал просить барина позволить ему купить образок Митрофания. Он узнал от ямщика, что образки эти тут же продают под воротами.

– Позвольте и мне, сударь, купить, – востропнулся Захар, сидевший со своим господином в карете.

– Это Митрофаниевский монастырь? – спросил Василий Алексеевич ямщика.

– Так точно, – отвечал тот с козел. – А вон и собор, где мощи лежат, – указал он на здание с большими куполами,

видневшееся за воротами.

– Ну что ж! Покупайте... – разрешил слугам Сухоруков, – только поскорее, чтобы нам не стоять тут без толку...

Захар поспешно вылез из экипажа и с Матвеем быстро исчез под воротами. За ними увязался и третий слуга, повар Иван, который сидел сзади в фордеке, приделанном к дормезу.

– Лампадная религия!.. – подумал, глядя на них, Василий Алексеевич.

Между тем послышался удар монастырского колокола. Было около четырех часов дня; это заблаговестили к вечерне. Из окна кареты Василий Алексеевич видел, как народ проходил в монастырь, как все снимали шапки, когда входили в ворота.

Тут же у ворот стоял нищий с деревяшкой вместо ноги и с костылем, на который он опирался. Седые волосы его развевались ветром. Это был высокий старик, на плечах у него была котомка.

«Товарищ мой по безножию»... – мелькнуло в голове у Василия Алексеевича, когда он поглядел на нищего.

Но вот нищий отделился от ворот и приблизился к экипажу.

– Подайте, барин, старому солдату, – проговорил он, протягивая шапку.

Василий Алексеевич бросил нищему несколько монет.

– Ты что же это, служивый, на войне ногу потерял? – спро-

сил Сухоруков.

– В двенадцатом году обезножел, ваше благородие, – отвечал солдат. – В двенадцатом году ноги я лишился, когда еще с французом мы дрались... Двадцать пять лет на одной ноге прыгаю. – Нищий был словоохотлив. – Теперь я совсем к этому привык, и народ меня кормит... И даже многие любят меня... Значит, кормлюсь тут у ворот... Благодарю угодника Божия Митрофания за его милости!..

– Ты бы в инвалидный комитет обратился, – перебил солдата Сухоруков. – В комитете вам пенсию должны давать.

– Э, батюшка! Какой там комитет, – махнул тот рукой, – много нас таких, безногих да безруких!.. Где он, комитет этот? У нас, благодарение Богу, есть Митрофаний. Это дело для нас вернее... – Нищему, по-видимому, понравилось разговаривать с баринком. – А вы, ваше благородие, – сказал он, вглядываясь с участием в Василия Алексеевича, – кажись, больные в карете сидите? Что это у вас рука-то?..

– Целый год болею, – проговорил Василий Алексеевич. – Видишь, такой же, как ты, калека, – отвечал он, грустно улыбнувшись.

– У Митрофания были? – спросил солдат.

– Нет, не был, – произнес Сухоруков.

– Чего же вы к нему, барин, не зайдете? Он таких, как вы, сколько тут вылечил. И сейчас вы тут с ним рядышком... Ведь вот он, Митрофаний-то наш!.. – Нищий указал на монастырский собор. – Он тут в соборе лежит...



«Какая у них у всех вера в этого Митрофания», – подумал Василий Алексеевич, глядя на нищего.

– Право, барин, чего вы к нему, к угоднику нашему, не обратитесь, – продолжал свое солдат. – Нестарый вы человек... Вам еще жить много... Сейчас пропустите эдакий случай... Когда вам случится еще в Воронеже-то быть...

И вот совершилось нечто совсем удивительное. Не мог уговорить Василия Алексеевича поклониться мощам Митрофания любимый камердинер Захар, а уговорил на это нищий-калека, которого Василий Алексеевич совсем не знал.

«В самом деле, – подумал вдруг Сухоруков, – прикажу-ка я моим людям меня к этим мощам поднести... и приложусь я к ним. Ведь это просто на удивление, как все они в этого Митрофания веруют... Будет даже интересно все это вблизи видеть. И вдруг мне вправду лучше станет».

Вернулись слуги Сухорукова из-под ворот. Они успели накупить в монастырской лавочке и образков, и поясков, и поминаний разных с картинками.

– Захар! – сказал Василий Алексеевич старому слуге совсем для него неожиданно, – вынимайте-ка меня из экипажа и несите в собор. Я хочу к мощам приложиться...

Захар был огорошен таким решением:

– Откуда это?.. Бог вразумил, Бог вразумил!.. – тихо говорил он – Чудо Божие будет... Барин мой исцелится!..

Люди вынули Василия Алексеевича из дормеза, посадили в дорожное складное кресло и понесли через ворота внутрь

монастыря.

Благовест к вечерне гулко раздавался в монастырской ограде под деревьями, насаженными на монастырской площади. Пронеся мимо этих деревьев нашего больного, сухорукские люди остановились перед собором, чтобы немного передохнуть. Василий Алексеевич с любопытством оглядывал двор монастыря, видел, как с разных концов собирались к вечерне монахи в черных рясах. Вечерня, по-видимому, еще не начиналась.

Наконец слуги взяли за кресло и понесли больного в собор.

#### IV

Впечатление торжественной тишины охватило Василия Алексеевича, когда слуги внесли его в собор и поставили кресло вблизи входных дверей. Здесь, в соборе, удары колокола совсем особенно гудели под высокими сводами. Мимо тихо проходили один за другим монахи в черных мантиях. Они делали земные поклоны и становились бесшумно на свои места.

Давно Василий Алексеевич не был в церкви, и настроение к молитве вдруг охватило его. Он почувствовал на своей шее крест, который дала ему когда-то его мать, и он вспомнил о ней... Сухорукову вдруг захотелось молиться, но он не знал, как молиться и кому молиться. И он смотрел, словно в за-

быть, на блестевший в глубине собора иконостас, освещенный кое-где лучами солнца, пробившимися сквозь решетчатые окна.

Так прошло несколько минут. Затем слуги, помолившись при входе в собор, понесли Василия Алексеевича дальше к мощам.

Серебряная рака с мощами стояла с правой стороны, за несколькими колоннами, недалеко от иконостаса, на особом возвышении из трех ступенек. Слугам надо было вынуть барина из кресла и на руках приподнять его по ступенькам к раке, чтобы он мог приложиться к останкам святого.

Когда люди подняли Василия Алексеевича и поднесли к самим мощам, его прежде всего поразило то, что он увидел так близко перед собой под покрывалом, вышитым крестами, ясный облик лежащего человека. Фигура его определенно выступала под покрывалом. Она чувствовалась как живая... Какое-то мистическое ощущение не то страха, не то благоговения охватило Василия Алексеевича. «Вот-вот, – показалось ему, – этот человек зашевелится и приподыметься...» И Василий Алексеевич начал свою молитву к лежащему пред ним человеку: «Если ты, святой, не такой, как мы, обыкновенные, слабые люди, – молитвенно пронеслось в душе Василия Алексеевича, – если ты присутствуешь здесь невидимо около этих твоих останков и видишь меня, слабого и измученного болезнью, если в тебе действительно есть сила исцелять людей, возрождать их к новой жизни, то возроди

меня, святой!.. Возроди меня силой твоей, и я тогда уверую в тебя, уверую в жизнь, уверую, что есть правда на земле...»

– Перекреститесь, барин, хоть левой рукой! – говорил сбоку Захар. – Приложитесь к угоднику... Он вас исцелит.

Василий Алексеевич, как мог, перекрестился и прильнул к покрову мощей лежащего перед ним Митрофания. «Исцели меня, святой, – взывала измученная душа Сухорукова, – дай мне жизнь, возроди меня!..»

Наконец Василий Алексеевич поднял голову и взглянул на большую икону, висевшую в ногах угодника, освещенную рядом лампад. Это был образ Митрофания, который Сухоруков уже видел на постоялом дворе, и это неожиданно напомнило Сухорукову его сегодняшней сон. Но старик-иеромонах, приставленный охранять мощи, повернулся лицом к Василию Алексеевичу. Он строго и внимательно посмотрел на больного и привычным жестом правой руки осенил его крестным знаменем...

Василий Алексеевич взглянул на монаха, и вдруг его поразило сознание, что лицо этого человека было то же, что и у седого старика во сне. Да! Это были те же нависшие брови и черные глаза, которые он тогда видел. И этот жест благословляющей руки, и эта икона, освещенная рядом лампад... это все – повторение того же вещего сна. «Да, это чудо, это чудо!..» И он при этом поразившем его сознании почувствовал что-то необыкновенное во всем существе своем, точно что ударило его и словно какой-то блеск несказанный озарил

всю его душу... И это озарение не было внешнее сияние, не было представление о свете, как мы его видим. Это было совсем новое, поразившее Сухорукова откровение. Передать, какие это были ощущения, он потом никому не мог. И Василий Алексеевич, вне себя, схватился правой парализованной рукой за стоявшего тут же Захара, поддерживавшего своего господина...

– Барин, милый барин! – проговорил Захар. – Да ведь угодник-то вас исцелил! Вы вашей рукой меня держите... Она у вас развязалась... Она у вас живая, совсем живая!..

Но чудо на этом не остановилось. Оно шло дальше. За ожившей рукой ожили и ноги Василия Алексеевича. Он их почувствовал и мог уже на них стоять.

Экстаз счастья и благоговения перед святым, исцелившим больного столь чудесно и неожиданно, охватил Василия Алексеевича, и он без помощи слуг сам склонился к раке и прильнул горячими губами к мощам святого...

Захар, видя, что его барин в необыкновенном порыве чувства приник к святым останкам и как бы замер, не отрываясь от мощей, пришел в смятение. У него явилась мысль, как бы Василию Алексеевичу не сделалось чего от поразившего его чуда.

– Барин! Да вы очнитесь! – говорил он, – встаньте, помолитесь угоднику!..

И вот Захар увидал, что Василий Алексеевич, весь в слезах, оторвался от раки. Восторженное лицо его светилось ра-

достью.

– Да вы сойдите со ступенек, – говорил свое Захар. – Сядьте в кресло, оно тут у стены стоит. Ведь ножки ваши слабые... Вам долго стоять нельзя... Вы целый год не ходили!..

При поддержке Захара Василий Алексеевич сошел со ступенек и сел в кресло у стены.

Что пережил и почувствовал Сухоруков в эти незабвенные для него минуты?

Если бы полчаса тому назад кто-нибудь сказал ему, что он уверует в Митрофания так, как он теперь в него уверовал, он тогда бы назвал такого предсказателя прямым безумцем. А теперь он, Сухоруков, более чем верит в святого; он его чувствует, чувствует его невидимое присутствие здесь, около себя, и, что удивительно, присутствие это тем более для него ясно, что оно невидимо.

Ведь вот он своими глазами видит икону Митрофания, видит останки под покровом, но это все – земное, материальное. У него же теперь раскрылось другое... особое зрение, и он этим особым зрением осознал святого. Зрение это есть несокрушимая вера в угодника.

В соборе началась вечерня. Стройное пение мужских голосов раздавалось под высокими сводами; оно сливалось в широкую гармонию несущихся звуков, и с этой гармонией в душе Сухорукова сливалось ликующее настроение от охватившего его счастья.

Счастье это было так велико, что Василий Алексеевич не

мог теперь говорить ни с кем и не мог даже думать о чем-либо; он жил сейчас только одним сознанием – сознанием, что пелена спала с его глаз, что ему открылся новый светлый мир, что он ощутил и ощущает прикосновение к себе одного из божеств этого мира...

Вечерня кончилась. Но Сухоруков продолжал сидеть в своем забытье, никого и ничего не замечая.

Между тем, Захар, по окончании вечерни начал прикладываться к останкам святого; он усердно молился и клал поклоны перед мощами. От молитвы оторвал Захара иеромонах, тот самый, который был приставлен к мощам и который, как мы упомянули выше, осенил Василия Алексеевича широким жестом благословляющей руки. Этого иеромонаха звали отцом Владимиром. Отец Владимир подозвал Захара к себе и начал спрашивать, откуда они приехали, кто его барин, давно ли барин заболел и прочее. Захар был рад дать иеромонаху все сведения, был рад рассказать, что он знал о болезни Василия Алексеевича.

Когда богомольцы стали уже совсем расходиться из собора, отец Владимир решил подойти к сидящему Сухорукову. Последний в это время безмолвно со счастливым выражением лица смотрел блестящими своими глазами на икону Митрофания, ярко освещенную горевшими лампадами. Отцу Владимиру хотелось ближе познакомиться с помещиком Сухоруковым, излечившимся на его глазах столь чудесно. Хотелось расспросить о всех обстоятельствах исцеления.

Иеромонах подошел к Сухорукову, желая вступить с ним в беседу.

Увидав стоящего перед ним старика, Сухоруков встрепенулся и пришел в себя.

– Святой отец! – заговорил он, глядя радостно на отца Владимира, – ведь я сегодня видел вас во сне и видел так же ясно и живо, как вот сейчас вижу. Это божественный Митрофаний направил вас, своего посланника, ко мне... Ваша душа была около меня, и вы тогда ночью во сне благословили меня. И теперь я понял, что это было... В этом вашем благословении был как бы призыв ваш меня к святому, призыв, чтобы я пришел к нему и ждал от него возрождения... Но тогда, этой ночью, я был еще слеп душой и не понимал таинственных явлений жизни... Словно недобрая сила сидела во мне и отталкивала меня от святого. И, что удивительно, я никого слушать не хотел, даже на слугу моего Захара из-за Митрофания накричал, а послушался я... кого же? Послушался неизвестного мне нищего, который стоит тут у вас, у ворот. И как это случилось, как я его послушался, как он повлиял на меня, я и объяснить не могу. Это какая-то невидимая волна подтолкнула мою волю приказать людям принести меня сюда. Ведь поразительно то, что я о Митрофании и о вашем монастыре вовсе и не думал. Просто даже не знаю, как я очутился у мощей. И вот Митрофаний исцелил меня от бесконечно мучившей меня болезни... Я вижу сейчас вас, вижу того, который ко мне сегодня ночью приходил, и сижу



я здесь в храме, радостный и счастливый, и уходить отсюда не хочу...

– Здесь есть гостиница при монастыре, – сказал отец Владимир, – там вы можете пожить...

Услышав это, Сухоруков обрадовался.

– Как хорошо! – проговорил он. – Я у вас тут поживу. Устройте меня здесь, святой отец!..

Через несколько времени все было решено. Отец Владимир позвал одного из монастырских служек, которых осталось в соборе всего несколько человек; они опраивляли лампы, гасили свечи и убирали в алтаре. Отец Владимир послал служку предупредить монастырского гостинника о предполагаемой остановке в гостинице помещика Сухорукова. Людям же Сухорукова, Матвею и Ивану, было приказано идти в гостиницу, которая была расположена против монастырских ворот. В эту гостиницу они должны будут перенести вещи из дормеза; после чего они отпустят ямщика с лошадьми, ибо барин их сейчас дальше не поедет.

– Ну вот, мы обо всем подумали и как следует распорядились, – сказал отец Владимир. – Теперь и нам пора уходить. Ведь в соборе никого уже не осталось. Я вас вместе с вашим слугой потихоньку доведу до гостиницы. Вы на меня и на него опирайтесь, охватите нас своими руками... Перед тем же, что нам идти, приложитесь-ка еще раз к мощам... Благословитесь у угодника.

Василий Алексеевич встал и, поддерживаемый Захаром и

отцом Владимиром, взобрался по ступенькам к серебряной раке и еще раз с великой верой приложился к останкам святого. Блаженная улыбка не сходила с лица его, но он взошел на ступеньки уже через силу. Он начинал чувствовать большую слабость.

Приложившись к мощам, Сухоруков, тихо переступая и опираясь на сопровождавших его, побрел с ними из собора на двор монастыря; он прошел таким образом через ворота и добрался, наконец, до гостиницы. Здесь комната ему была уже отведена. Отец Владимир простился с Василием Алексеевичем. Прощаясь, он советовал Сухорукову лечь отдохнуть. Василий Алексеевич имел усталый вид. На просьбы Сухорукова не оставлять его отец Владимир обещал прийти к нему сегодня вечером часов около девяти, когда он справит свои дела.

Захар приготовил барину постель и уложил его, счастливого, с воскресшей душой, на отдых. Василий Алексеевич быстро заснул крепким и спокойным сном; заснул он таким сном, каким давно ему не спалось.

## VI

Интересно сказать, что в деле создания себе религий Василий Алексеевич Сухоруков шел путем совершенно своеобразным. Шел он путем чисто опытным под влиянием тех ударов, которые ему посылала судьба. И, что замечательно,

ему пришлось создавать свою религию как бы против своей воли. Так он был прежде далек от всякой веры.

До болезни у Василия Алексеевича не было никакой религии. Не было у него также никакого философского мировоззрения. При его бьющем через край здоровье, при его страстности ему было не до философий. Он спешил жить и пил чашу наслаждений со всем безумием ликующей молодости. Жизнь его неслась быстро, в каком-то опьянении. По своей живой натуре Василий Алексеевич был большой реалист, принадлежавший всецело земным впечатлениям. Никаких духовных запросов, никаких стремлений к богоискательству, которые мы, например, видим у многих умов нашего века, у Василия Алексеевича не было. Философских книг он не читал и не любил читать. Правда, он любил словесность, но в литературе он ценил только художников и поэтов. Только эта сторона отражения жизни человеческой, отражения в живом искусстве и художестве, была сродни его духу эпикурейца, каким он, в действительности, был до своей болезни.

Но вот Сухоруков подвергся страшному жизненному удару; нахлынула на него эта тяжелая болезнь – болезнь, сковавшая его тело, возникшая при особых, исключительных условиях, давших почувствовать ему, что кроме сил материальных, земных, имеют громадное значение в жизни человека силы сверхприродные, силы таинственные. Это как бы невидимые волны из особого мира, волны, ударяющие в людей

из какого-то таинственного океана, неведомого и бесконечно могущественного. И в этом океане есть волны не только злые, но и благодатные, светлые, спасающие людей.

Когда Василий Алексеевич после крепкого сна в монастырской гостинице проснулся и, очнувшись, почувствовал еще раз, что правая рука его свободна, а ноги не парализованы, что чудо исцеления прочно, ликующая радость опять охватила его. Так он намучился за свою болезнь! И мысль его, воскресшая вместе с его возрождением, опять заработала над религиозными вопросами. Проснулась и она после той долгой летаргии отчаяния, которой он за последнее время предавался. У него начали создаваться свои оригинальные объяснения всему, что произошло.

Василий Алексеевич пришел к признанию, что первой благодатной силой, ударившей в него из высшего сверхприродного мира, из высшей надмирной сферы, была его мать, Ольга Александровна Сухорукова. Она живет там, в этой надмирной сфере... Тогда, после его колдовства в лесу, мать его к нему явилась внезапно; она остановила его от преступления, спасла его от полного нравственного падения. Затем, за всю эту тяжелую болезнь, мать как бы оставила его. Но прав ли он был, думая таким образом? Ведь видение ее было тогда так неотразимо ясно; оно по яркости своей было сильнее даже того, что дает нам реальная жизнь. Прав ли он был, думая, что мать его оставила! Если она, как он твердо помнит из детства своего, так его любила, своего единственного

сына, то он, Сухоруков, теперь убежден, что она и сейчас его любит. Она все время была около него и незаметно для него его охраняла. Если она не могла прорваться в душу его, прорваться в его сознание, если он не мог увидеть ее, почувствовать ее, то виноват в этом единственно он сам, ибо он стал забывать ее, перестал ей молиться. Он за свою болезнь надел на себя как бы броню безверия. У нее же, у его матери, не хватило сил, чтобы проникнуть в его одеревеневшую душу, не было сил, чтобы изгнать из него отчаяние, толкавшее его даже после свидания с Лермонтовым на самоубийство. И вот она, мать его, не имея сама сил исцелить сына, молилась за него там, в высшем мире, перед другими могущественными силами, молилась перед Митрофанием, который внял мольбам ее. Этот могущественный дух, это надмирное божество, святой Митрофаній Воронежский, исцелил его по ее молитвам. Митрофаній не только избавил его от болезни, он спас его от отчаяния и, может быть, даже от самоубийства...

Такие мысли проносились в голове Сухорукова, когда он очнулся от своего крепкого сна в монастырской гостинице.

В радостном сознании своего спасения Василий Алексеевич встал сам с кровати. И ему было так приятно ощущение полной независимости, когда он вставал. Никого не нужно было звать, чтобы поднимать его, помогать ему.

Сухоруков подошел к комоду, над которым висели монастырские часы, отчеканивавшие медленными взмахами своего маятника несущееся время. В комнате уже начинало тем-

нет. «Да ведь скоро сюда, в гостиницу, должен прийти отец Владимир!» – вдруг вспомнил Сухоруков. Он начал внимательно вглядываться в стрелки монастырских часов и сквозь наступающую темноту увидел, что часы показывали около девяти. Сухоруков позвал Захара и сказал, что надо принять отца Владимира, приготовить чай. Захар принялся хлопотать – зажег свечи, побежал за самоваром и посудой. Василий Алексеевич смотрел, как быстро все это делал Захар. Старый слуга точно помолодел после всего того, что сегодня произошло с баринном.

Пришел отец Владимир. Василий Алексеевич не знал, как его принять, куда усадить, как выразить ему свою радость.

У них завязалась беседа, и первое, с чего начал Сухоруков, это – стал расспрашивать о Митрофании. Он просил отца Владимира дать жизнеописание святого. Он, Сухоруков, о жизни св. Митрофания, к стыду своему, ничего еще не знает. На это отец Владимир отвечал, что, к сожалению, нет обстоятельного изложения жизни угодника. Никто из ученых над этим еще не поработал, но что он лично ознакомился с некоторыми оставшимися письменными памятниками, касавшимися жизни Митрофания. Памятники эти характеризуют великую твердость Митрофания в деле веры. Митрофаній боролся даже с Петром Великим в тех его новшествах, которые могли оскорблять христианские верования нашего народа.<sup>3</sup> От самого Митрофания осталось только два пись-

---

<sup>3</sup> Между прочим, известен исторический факт, что св. Митрофаній не хотел

менных труда – это его синодик и завещание. Отец Владимир познакомился с ними по тем рукописным копиям, которые имеются в их монастырской библиотеке. Он внимательно читал синодик; там есть интересные заметки святого. Читал он и завещание. Из этих памятников видно, что Митрофаній был горячим проповедником любви христианской, и, что особенно интересно, любовь святого распространилась не только на живых, но и на умерших. Любимой его молитвой была молитва за умерших. По словам отца Владимира, Митрофаній был проникнут непрестанным сознанием кратковременности человеческой жизни, убеждал всех каяться и готовиться к жизни вечной – готовиться в борьбе со своими злыми страстями. Не сомневался святой, что жизнь вечная будет дарована тем, кто себя переработает в истинного христианина. «Мне особенно запомнилось, – сказал отец Владимир одно изречение Митрофанія в его завещании: „Мы же, братие, – пишет там святой, – возведем очи свои на небо и покажем друг другу любовь совершенную и подадим лежащему свои руки на помощь и поможем отшедшим жития сего прежде времени“, то есть поможем нашими молитвами тем, кто ушел в тот мир, не приготовившись по страстям своим к высшей жизни, поможем тем, кто не успел покаяться и переработать себя, почему им придется страдать за это в

---

освящать в Воронеже дворец Петра, в котором на виду всех, в подражание Версальскому двору, были поставлены статуи обнаженных греческих богинь. Митрофаній, рискуя собственной жизнью, добился того, что статуи эти были сняты.

мытарствах».

– Вот и вы теперь, как один из многих, исцеленных Митрофанием, – сказал отец Владимир, – и вы теперь должны покаяться в своих грехах, должны положить начало в стяжании себе жизни вечной, которая уготована праведным людям, и вам не мешало бы начать это великое дело в нашем монастыре, начать здесь с того, что у нас поговеть и причаститься великих Христовых тайн...

Прошла минута молчания. Василий Алексеевич ничего не отвечал на призыв отца Владимира причаститься у них в монастыре.

– Вы давно уже не приобщались Тела и Крови Христовой? – прервал наконец молчание Сухорукова отец Владимир.

– Я не верю в это таинство, – сказал на это не без усилия Василий Алексеевич.

Отец Владимир с удивлением посмотрел на Сухорукова.

– Простите, батюшка, за резкую откровенность, – продолжал Сухоруков, – но я не хочу вам лгать. Не для того исцелил меня Митрофаній, чтобы я вас обманывал...

– Вы не верите в святое причастие?! – ужаснулся отец Владимир.

– Что делать! Не верую и не могу веровать, – отвечал Сухоруков. – Вера есть дело свободное. А не верую я потому, что и Христа за Бога не признаю...

– Что вы?! Что вы?! – чуть не вскричал отец Владимир. –



Что вы говорите?!

– Не виноват же я в том, что у меня этой веры нет, – за- протестовал Василий Алексеевич. – Надо сначала убедить- ся, чтобы поверить. Ведь и Фома неверный, по вашей да- же легенде, имел право не верить, пока не убедился... Вот в Митрофания я уверовал, потому что почувствовал его боже- ственную власть, когда я, больной и измученный, стоял пе- ред его мощами, когда меня словно ошеломило всего, удари- ло в меня страшной живой силой от святых его останков... Ведь что там ни говорите, а Христос так далек от всех нас... Почти две тысячи лет прошло после его смерти. Во всей его жизни столько невероятного; невольно закрадываются раз- ные сомнения о том, не представляют ли все эти сказания о Христе красивую обольстительную сказку, навеянную на людей их же воображением... Ведь в жизни Христа столь- ко легендарного!.. Прочтите-ка, батюшка, Вольтера – что он пишет о разных рассказах и суевериях людей...

Отец Владимир был совсем поражен речами Сухорукова. Он не знал, что ему отвечать и как возражать. Отец Влади- мир не был силен в религиозной философии; это был, что на- зывается, рядовой иеромонах. Он чувствовал всю неправоту, все заблуждение Василия Алексеевича, но спорить ему было не под силу.

– А в Митрофания я верую всем сердцем моим, – продол- жал высказываться Василий Алексеевич, – он, несомненно для меня, живет в ином, неведомом нам, высшем мире... И

оттуда, из этого мира, протягивает руку помощи пострадавшим людям... Христос же велик в Евангелии, в этом величайшем памятнике первых веков... Но памятник этот так далек от нашей настоящей жизни... И вы, батюшка, мне помогите... разрушьте мое неверие в Христа. Я сам бы хотел в него уверовать, но не могу... И меня от себя вы не отталкивайте и слов моих не пугайтесь...

– Я не могу вам помочь, – грустно сказал отец Владимир. – С вами мне не справиться. У меня такой силы нет. Я не старец, а простой монах. С вами старцу говорить надо... Ступайте к старцу. Тот вас убедит в великих истинах Христовых.

– К старцу? Кто это старец, о ком вы говорите? – перебил с живостью Сухоруков. – Познакомьте меня с ним, батюшка. Мне так нужно было бы поговорить с человеком, который наставил бы меня и не пугался бы, как вы, моих еретических мыслей...

– У нас в монастыре такого старца нет. Старцы не во всех монастырях бывают. Если вы хотите, я вам укажу такого старца, – объявил наконец, подумав, отец Владимир, – но старец этот живет не близко отсюда. Это будет по дороге в Москву. Недавно основалась там пустынь; зовут ее Огнищанской. В этой пустыни живет подвижник – отец Иларион; он из ученых и истинно святой жизни. Таких, как вы, он обращает к Христу. К нему и простой народ валом валит за помощью, и слава о нем идет большая... Он прозорливец и душу человеческую насквозь видит...

Хотя отец Владимир просидел у Василия Алексеевича недолго, тем не менее беседа его принесла свои плоды. Кончилась эта беседа тем, что Сухоруков решил завтра же ехать в Огнищанскую пустынь. Он будет в этой пустыни непременно, будет там говорить о своих сомнениях с отцом Иларионом. Он будет с ним советоваться, как устроить свою жизнь, будет просить наставить его в вере, будет говорить ему о том, что ему хотелось бы жить и умереть у мощей св. Митрофания, непрестанно ему молиться, искать у этого божественного человека своего спасения...

## VII

На следующий день Василий Алексеевич выехал из Воронежа в Огнищанскую пустынь.

Из расспросов у отца Владимира выяснилось, что эта пустынь лежала лишь немного в сторону от пути Сухорукова в Отрадное. Чтобы добраться до пустыни, надо сделать в сторону от знакомого уже тракта не более тридцати верст.

Василий Алексеевич ожидал, что все его религиозные сомнения разъяснит старец, этот прославленный подвижник, живущий в Огнищанской пустыни. «Если наше монашество, – думал Василий Алексеевич, – произвело такую громадную силу, как св. Митрофаний, то можно надеяться, что и этот старец, которого отец Владимир назвал прозорливцем, назвал человеком, выдающимся из всей монашеской

братии, есть человек подобной же силы, той же высшей духовной сферы, к которой принадлежал св. Митрофаний, так чудесно исцеливший его от болезни. Старец этот скажет ему свое сильное слово, даст ему опору в вере, оздоровит мятущуюся душу, укажет ему путь его жизни. Ведь он, Сухоруков, так страстно желает встать на верную дорогу».

Из Воронежа в Огнищанскую пустынь Василий Алексеевич ехал более двух дней сначала на почтовых. Затем, чтобы добраться до пустыни от почтового тракта, где был поворот на проселочную дорогу, пришлось нанимать уже вольных ямщиков. Эта ближайшая к пустыни дорога была довольно тяжелая; ехать по ней в дормезе было затруднительно. Поэтому Василий Алексеевич решил оставить свой экипаж на почтовой станции, а по проселку ехать в наемном тарантасе.

В подобных тарантасах, обтянутых рогожами, ездили в те времена паломники, путешествовавшие по монастырям, не могущие почему-либо идти пешком. Вольные ямщики сажали их по несколько человек в такую колымагу. Василий Алексеевич нашел тарантас, в пустынь он взял с собой только Захара. За последние дни Сухоруков настолько окреп физически, что остальные люди были ему не нужны. Он приказал им ожидать на станции его скорого возвращения.

Дорога по проселку шла полянами и перелесками. Верст за пять не доезжая монастыря, тарантас Василия Алексеевича въехал в сосновый лес.

Но вот Василий Алексеевич увидел и пустынь. Она была на горке. К ней вела широкая просека. Прямо перед глазами показалась высокая церковь, надстроенная над большим зданием. Заходящее солнце ударило косыми лучами в красные кирпичные стены этого здания, в стены других недавних построек пустыни. Здания эти, освещенные солнцем, красиво выделялись на темном фоне соснового леса. Показалась колокольня и маленькие монастырские башенки, купола главного монастырского храма. Колымага Василия Алексеевича, которую тащила тройка лошадок, не без труда поднялась в гору. Наконец ямщик, объехав часть монастырской стены, подкатил к гостинице.

Василия Алексеевича встретил у подъезда монастырский гостинник. Звали его отцом Фетисом\*. Отец Фетис был бодрый старик, живой и услужливый. Он помог Василию Алексеевичу вылезти из тарантаса. Видя, что гость опирается на своего слугу, он помог ему взобраться на крыльцо и повел их по широкой деревянной лестнице во второй этаж. Там они вступили в светлый коридор с бревенчатыми стенами. В коридоре прямо против входа висело несколько икон с зажженными перед ними лампадками. Висели тут также старинные раскрашенные литографии, изображавшие осаду Троицкой Лавры.

Сухорукову отвели небольшую комнату в два окна. Комната была с низенькими потолками, с гладко выструганными стенами, с горшками герани на окнах, с изображением Са-

ровской пустыни на стене, с небольшими плетеными из камыша ширмами, обтянутыми темным коленкором. Ширмы отгораживали от света низенькую деревянную кровать с довольно жестким тюфяком и красной подушкой.

Отец Фетис старался занять гостя, пока ямщик и Захар вносили в комнату вещи Сухорукова.

– К старцу пожаловать изволили? Видеть его желаете? – спросил он Василия Алексеевича и на его утвердительный ответ сказал: – Хорошо, милостивец, что вы в четверг к нам приехали. Старец-то наш только в пятницу из затвора выходит. В пятницу он мирских принимает, а в субботу наша монастырская братия у него на беседах вся пребывает; остальные дни он опять от всех в своей келии запирается; в затвор, значит, идет, никого не видит. Все грехи, которые мы с собой носим и на него напустим, все наши помыслы лукавые, что в нас сидят и которые он в нас видит, – так он потом от всего этого в своем затворе целую неделю отмахивается. Молитвами перед Господом Богом отмывается от грязи-то всей нашей житейской... Так-то, милостивец! Вот какой у нас здесь старец!..

– Где можно видеть отца Илариона? – спросил Василий Алексеевич. – Он в келии у себя принимает?

– Нет, милостивец, – отвечал отец Фетис, – это все он в церкви делает. Там у него и прием. У нас такая маленькая церковь есть, около больнички. Он туда из своего затвора приходит. Там и принимает на клиросе, в сторонке, за ико-

нами. У него там на клиросе словно как отдельная комнатка. Вот завтра утром с шести часов он и начнет свой прием. Сами увидите, сколько к нам народу придет. Это из разных тут деревень, а много и издалека приезжают. Все к нему, к Илариону... Народ-то простой мы здесь, в гостинице, внизу кладем, а господа или купцы – тех мы наверх... К старцу вы на исповедь или просто для беседы приехали?

– Я... для беседы, – отвечал Сухоруков.

– Так вот, милостивец, я вам для этого случая номерочек дам, – объявил гостинник. – Там келейник к старцу по номеркам людей пускает, чтобы народ не сразу лез. Вам сейчас третий номерок приходится. Тут уже двум приедем я номерки дал. Одному офицеру, к нам такой приехал, да вот еще монашке из Каменского монастыря...

Василий Алексеевич был счастлив, что так хорошо попал в пустынь, к самому дню, когда был прием у отца Илариона.

## VIII

Сегодня Сухоруков должен быть у старца. Он проснулся рано утром в своей маленькой комнатке. К нему вошел Захар. Сухоруков быстро оделся, теперь он уже свободно владел своей правой рукой. Одевшись, он сошел вниз на крыльцо гостиницы, сопровождаемый Захаром.

На дворе у коновязи стояло несколько запряженных телег с наложенным в них кормом. Это мужики издалека приеха-

ли в монастырь. На некоторых телегах сидели бабы с ребятами. Слышны были разговоры. Со стороны въезда в пустынь подъезжали и подходили еще паломники, было много крестьян. Время для народа было свободное – горячая рабочая пора уже прошла.

На монастырской колокольне уже благовестили к ранней обедне. Василий Алексеевич прошел к воротам монастыря. Ворота были заперты, но в них была раскрыта калитка. Через калитку он вступил внутрь пустыни.

Когда Василий Алексеевич с Захаром вошли в монастырскую ограду, первое, что поразило их, это – масса цветов по всем внутренним дорожкам пустыни. Цветы блестели на утреннем солнце. Было очень красиво. «Вот истинный рай!» – вырвалось восторженное замечание Захара.

В ограде было тихо. Только удары колокола прерывали тишину. Василий Алексеевич шел не спеша, опираясь на палку. Его обгоняли приехавшие богомольцы: бабы в платках и паневах, старухи с котомками на плечах, бородатые мужики без шапок. Они по дороге крестились. Обогнал Василия Алексеевича странник с развевающимися волосами, в истрепанной свите, с посохом в руке, напоминавший Сухорукову по своему костюму Никитку. Только лицо у этого странника было другого типа: много моложе, румяное, с рыжей круглой бородой. Прошел плечистый военный с черными бакенбардами, в накиннутой шинели. Пройдя мимо Сухорукова, он обернулся и довольно сердито посмотрел на Василия



Алексеевича из-под длинного козырька фуражки. Взгляд его был мрачный; он не гармонировал с выражением других лиц, проходивших мимо Сухорукова. У большинства на лицах было написано, наоборот, что-то радостное. Видно было, что они у цели. Ближе было их утешение, которое они ожидали у старца. В те времена крепостничества и всякой несправедливости было великой радостью для простых людей прикоснуться к святому человеку, к хранителю правды Божией на земле, той правды, которой так жаждет наш народ.

Василий Алексеевич видел, что большая часть паломников шла не в главный храм, где служили раннюю обедню, а налево, на боковую дорожку. В конце ее виднелось высокое крыльцо, пристроенное к кирпичному двухэтажному зданию. На острой крыше этого крыльца блеснул большой восьмиконечный крест. Это и был вход в маленькую церковь, где сегодня будет принимать мирян старец Иларион.

С крыльца Василий Алексеевич вступил в большую прихожую перед церковью. Там собралось уже порядочно народа, ожидавшего быть впущенным к старцу. Большинство сидело на лавках кругом стен прихожей.

К собравшимся вышел высокий монах с худым постническим лицом. Это и был келейник отца Илариона. Он отобрал у желающих видеть старца номерки, которые они получили от гостинника. Подойдя к Василию Алексеевичу и посмотрев на его номерок, келейник пригласил его за собой в церковь.

Храм, куда вошел Василий Алексеевич, был невелик. По-видимому, он был устроен в здании уже после его сооружения; он был переделан из длинной невысокой комнаты. Здесь, в храме, направо от входа, у стены уже сидели двое лиц, дожидавшихся приема у старца: это были старая монахиня и тот самый военный, который обогнал Василия Алексеевича, когда он шел по дорожке.

Правый клирос церкви был загорожен двумя большими иконами. Иконы эти доходили до потолка и образовали как бы отдельную комнатку. Сухоруков спросил тихо келейника, здесь ли старец. На это келейник ответил, что старец в алтаре и что Василий Алексеевич увидит отца Илариона, когда тот выйдет из алтаря.

Действительно, скоро из алтаря вышел отец Иларион. Он прошел из северных дверей к царским вратам. Положив земные поклоны перед местными иконами Спасителя и Божией Матери и приложившись к ним, старец остановился на несколько минут у царских врат для молитвы.

Насколько Василий Алексеевич успел всмотреться в старца, это был старик небольшого роста, весь седой, с тонкими чертами лица. Он был в мантии и эпитрахили. Левой рукой он поддерживал на плече своем клобук. Помолившись у царских врат, старец прошел на клирос за образа.

Келейник приблизился к военному, о котором мы говорили выше, и попросил его пройти на клирос к старцу.

Военный пробыл у старца довольно долго, около получа-

са. Василию Алексеевичу совсем не было слышно, что говорилось на клиросе за образами; оттуда доносился гул двух голосов. Но вот военный вышел. Он тихо спускался со ступенек амвона. Посмотрев на него, Василий Алексеевич был удивлен переменой в выражении его лица сравнительно с тем, как Сухоруков его только что видел на дорожке. Военный имел смущенный вид. Он спешил скорее платком закрыть свое лицо. С каким-то точно испуганным выражением он прошел мимо Василия Алексеевича и исчез в выходных дверях церкви.

После военного келейник пригласил к старцу монахиню. Та пробыла за образами недолго – всего каких-нибудь пять минут.

Очередь пришла идти Василию Алексеевичу. Не без волнения, опираясь на свою палку, он пошел к старцу. Взойдя на клирос, Василий Алексеевич увидал, что у окна перед старцем стоял аналой; на нем лежали Евангелие и крест.

– Вы из помещиков будете? – сказал старец, когда Василий Алексеевич поклонился и принял от него благословение. Старец внимательно смотрел на Сухорукова своими пронизательными глазами.

– Я сын помещика, – отвечал Василий Алексеевич, – живу с отцом в нашем имении.

– Какое ваше горе? – спросил старец. – Чем могу вам помочь?

– Горе мое, если только это можно назвать горем, – на-

чал с некоторой заминкой в голосе Василий Алексеевич, – в Христа я, отец святой, не верую... В таинство причастия веры у меня нет...

– Это что же!.. – сказал старец, с удивлением взглянув на Сухорукова. – Вы чуда от меня хотите? Хотите, чтобы я вас, нравственно слепого, зрячим человеком сделал?..

Старец покачал головой и строго посмотрел на Сухорукова.

– Скажите мне, как я уверю такого слепого, как вы, что есть солнце, коли глаза у вас на солнце закрыты, – проговорил он словно с укором. – Впрочем, – тихо улыбнулся старец, – вы кое-что уже видели... Зорьку-то вы ведь видели?.. Знаете, когда перед солнечным восходом заря чуть-чуть занимается... Так ведь? – говорил он, пытливо смотря на Сухорукова. – Зорька вас коснулась?..

– Какая зорька, батюшка? – спросил тот, пораженный.

– Да кабы не чувствовали этой зорьки, – сказал отец Иларион, – вы ко мне бы не пришли. Вы на зорьку сами тянетесь, как бабочка на огонек. Зорька, она притягивает к себе ваше сердце... Ведь у сердца есть свое зрение, свои законы... У него свои притяжения. Только оно у вас, это сердце, словно как в параличе. Ведь вы же знаете хорошо, – сказал вдруг, упорно глядя на Сухорукова, старец, – что такое паралич, когда, например, у кого ноги скованы, когда больного человека на руках носят...

Василий Алексеевич смотрел широко открытыми глазами

на старца. «Точно он все уж узнал», – пронеслось в его голове.

– Так вот, – продолжал старец, – сердце ваше тьмой вражеской сковано... И вы пришли ко мне, чтобы я тьму эту с вашей души снял, чтобы ваше больное сердце вдруг ожило, почувствовало бы Христа... Почувствовало бы это великое сердце – сердце мировое, объемлющее любовью всех. Ведь кто же Христос, Спаситель-то наш? Кто, вы думаете? Ведь это же объемлющий своей любовью всю Вселенную Дух Божий!.. Ведь это же невидимое нашими глазами Солнце любви, это всеобъемлющая страшная единая энергия пламенного чувства, это живое Солнце любви! Это – именно Солнце! Лучше не сравнишь по человеческим силам нашим. Ибо велик Бог Вседержитель! Не вмещается Он в понимание наше. И Его можно познать только сердцем, ибо только сродным сродное познается...

– И чувствуете ли вы это слово мое, которое я сказал вам, назвав Христа живым Солнцем любви. Поймите – живое Оно... живое! То есть личное. Вы можете о Нем судить по тем микроскопическим человеческим подобиям, которые мы встречаем здесь, на земле... Ну, хоть судить по вашей матери, которая вас так любила великой христианской любовью – любовью, возросшей в ней от Христа, любовью, пришедшей к ней из этого единого невидимого источника, и это была тогда ваша зорька... Мать ваша горела отблеском от Божества личного, пламенного... Но то было давно!.. Вы за-

были ее, вашу мать, и очерствела душа ваша в злых ваших страстях...

Сухоруков стоял пораженный, не сознавая себя. Он впал словно в очарование. Сердце его билось. Ум его раскрывался. Он начал понимать старца.

– Вы не верите в Христа, – продолжал старец. – Он так далек от вас. Вы говорите: почти две тысячи лет прошло после его смерти; сказания о нем, по-вашему, – красивая оболстительная сказка... А вы знаете ли историю? Изучали ли вы Писание? Знаете ли вы то, что две тысячи лет тому назад Христос зачаровал мир великим очарованием, что он захватил сердца людей страшной своей силой. Не умы рассудочные Он пленил, а сердца! Сердца Его почувствовали... Он свел людей с ума, с их языческого ума, открыв им мудрость божественную... Ведь это же пришла в мир сила не от мира сего!.. А что такое ваши две тысячи лет, которые вас так пугают?.. Это же мгновенье во Вселенной!

– Господи! – вдруг с великим воодушевлением воскликнул старец. – Как дивны дела твои! Ты послал нам на землю Сына Твоего Единородного... Он воплотился на земле во Иисуса!..

– И помните вы навсегда, во всей вашей жизни, – обратился старец опять к Сухорукову с вдохновенной речью, – помните твердо, что Он воплотился только во Иисусе Назаретском и ни в ком другом, и воплотился Он единожды. Другого Богочеловека на земле не было и не будет. Ведь все

остальные учителя человечества, о которых так много говорят ученые, это же перед Ним маленькие существа... Это – пигмеи перед Ним, зачаровавшим мир своими простыми речами, речами Бога, и отдавшим в страшных мучениях жизнь свою за людей... Было ли еще что-либо подобное на грешной земле? Это само Солнце любви сошло на землю и зажгло людей своим светом!..

Василий Алексеевич отдался весь речам старца. Заря внутреннего света занялась пред ним. Она росла, эта заря... Василий Алексеевич не видал еще Солнца, но он словно проснулся для духовной жизни. Свет приближался к нему.

– Думайте о Христе, старайтесь почувствовать Его, молитесь Ему, – продолжал старец. – Ведь Он есть Спаситель наш, истинно вам это говорю, – убеждал отец Иларион. – Он близко от нас. Близко от нас Его всеобъемлющее сердце; близка от нас Его бесконечная живая любовь – любовь живого Бога, Бога личного. Повторяю вам: не умом это понять; это можно почувствовать только сердцем. «Имеющий уши слышати, да слышит». Слышите ли вы, что я вам говорю? – сказал старец, взяв за руку Сухорукова и глядя на него своими лучистыми глазами.

– Слышу, – отвечал Василий Алексеевич с глубоким чувством.

– Услыхали, наконец! – проговорил со вздохом облегчения старец. – Так вот, еще раз повторяю вам, старайтесь чувствовать Христа, не заковывайте в броню неверия ваше сердце.

це... Кто долго стоит на солнце, телом согревается, а кто о Боге и Божеском все думает, согревается в духе. Чем дальше, тем больше... наконец, загорается дух... Вот какой огонь наш Господь Спаситель пришел возжечь на земле!..

– А теперь, – сказал старец уже более спокойным тоном, осеня Василия Алексеевича крестом, взятым с аналая, – приложитесь-ка с твердой верой к этому кресту, поклонитесь Господу нашему Иисусу.

Василий Алексеевич с верой перекрестился и приложился ко кресту.

– Вам надо поговорить, – сказал вдруг старец очень строго, – и чем скорее, тем лучше. Надо теперь же покаяться во многом, надо хоть беглым оком оглянуться на свою жизнь... Надо начало духовной жизни положить, положить начало борьбе со злами, страстями. Сегодня вы посетите наши монастырские службы: обедню и вечерню. После вечерни вы придете ко мне в шесть часов, придете сюда же. Я с вами еще поговорю; теперь мне недосуг. Сейчас народу там много... ждут. Завтра вы опять все службы в нашем храме отбудете, а после всенощной придите ко мне на исповедь. В воскресенье вы причаститесь Святых Тайн...

Василий Алексеевич с чувством умиления поклонился старцу. Тот благословил его и поцеловал.

Радостный и счастливый вышел Сухоруков от старца. Проходя мимо прихожей, он увидел сидящего там между другими Захара.



– Ты тоже ждешь старца? – сказал он старому слуге, любовно на него глядя. – Иди, иди к нему! Он истинно святой человек... Он душу мою оживил. Господи, как хорошо теперь мне стало!..

## IX

Сухоруков начал говение. По приказанию старца он был и у поздней обедни, и у вечерни. И что удивило Василия Алексеевича, это та легкость, с которой он все это исполнил, хотя службы были длинные, без пропусков. Его охватило особое настроение в этот день осенившей его веры в Богочеловека Иисуса Христа.

Конечно, здесь имела значение и та церковная обстановка, при которой совершалась служба в монастыре. Служба эта была полна строгой аскетической простоты. Все, что читалось в церкви, читалось просто и ясно. Пение было тихое и в стройном согласии. Никакой рисовки в служении, ничего искусственного. И поразительно величественно совершал литургию сам настоятель монастыря! Все его литургийные возгласы, как казалось Василию Алексеичу, имели особую силу. Возгласы эти, которые обыкновенно священники произносят нараспев, по установившейся общей манере, говорились с величавой простотой и с глубоким чувством. Эта была речь как бы самому Богу. Когда литургия началась словами: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне

и присно и во веки веков» и когда хор на это ответил возгласом: «Аминь», то есть общим несокрушимым утверждением славословия Богу, славословия во веки веков, Василий Алексеевич сердцем своим почувствовал, что над земным миром, лежащим во зле, незыблемо и несокрушимо стоит Царство Христа, что оно всеяно в сердца множества людей, что Царство это разрастается без конца и что, действительно, оно благословенно, как гласит начало литургии, ныне и присно. Василию Алексеевичу было радостно это сознание незыблемости и вечности Царства Христова, сознание того, что сила Христа провозглашается христианами с таким ликующим торжеством в их непрестанных славословиях.

И так шла вся литургия. В каждом возгласе Василий Алексеевич находил свои красоты и глубокий смысл. В таком раскрывшемся понимании церковной службы отстоял сегодня он обедню и вечерню. Были, впрочем, непонятные для него места, но он отныне начнет изучать значение их; он все себе уяснит. Он будет читать духовные книги. И все это сделается ему вполне понятным при его дальнейшей духовной работе.

Вечером в шесть часов Василий Алексеевич пришел в церковь к старцу. Посетителей у старца оставалось немного. Отец Иларион скоро их отпустил. После их ухода Василий Алексеевич пошел на клирос. Вошел он к старцу с легким сердцем, как к близкому человеку. Он чувствовал уже связь со своим отцом духовным.

Старец был с Сухоруковым ласков. Он опять его поцеловал, усаживал его рядом с собой на табуретку, но Василий Алексеевич продолжал стоять. – У вас ноги слабы, – заметил старец, – вы все с палочкой ходите. Вам трудно стоять. Зачем вы стоите? Разрешаю вам и во время церковной службы посиживать. Службы наши длинные... Не очень вы горячитесь, это лишнее...

Старец наконец усадил Сухорукова рядом с собой. Стал расспрашивать об обстоятельствах его жизни, о том, что привело его в Огнищанскую пустынь.

Василий Алексеевич был рад высказаться и во всем открыться старцу. Он сообщил ему о своей болезни, как она возникла и как был он чудесно исцелен у мощей св. Митрофания; как у него слагалась своя особая религия, и как он был далек от христианства; сообщил он и о том, какое влияние имела на него мать во времена его детства и отрочества, и как она потом чудесным образом остановила его от преступления...

– Вам нельзя жаловаться на вашу судьбу, – сказал старец, когда выслушал его историю. – Судя по тому, как ваша жизнь складывается, вы великий еще счастливец, над вами особая милость Божия... Все то, что вы испытали, привело вас к бесповоротному признанию, что существует надмирная Сила, приносящая человеку спасение... Вы только не понимали, что это такое; вы назвали эту Силу невидимыми волнами из неведомого океана, а это была благодать Божия, бла-

годать, идущая от Христа Спасителя через избранников Его. Они, эти избранники, словно небесные планеты, освещенные Солнцем и от Него загоревшиеся, – они дали вам свет... показали вам зорьку, к которой вас потянуло... Планеты эти восприняли от Солнца свою силу духовную. Как ваша матушка, эта праведница, так и святой Митрофаний Воронежский были для вас проводниками высшей Божественной силы... Ведь откуда же они почерпнули силу своих влияний?... Ведь это же все от Солнца духовного...

– Теперь вы добрались до истины... Горизонт ваш, милостью Господа Бога, расширился. Кроме видимого солнца, вы знаете теперь, что есть еще другое Солнце, очами незримое, с неизмеримо высшей энергией, которая животворит мир духовный, животворит сердца людей...

– Батюшка! – сказал вдруг в горячем порыве Василий Алексеевич, – я хочу себя посвятить этому духовному миру... Он так ярко раскрылся предо мной... Хочу ему отдаться всем существом моим. Меня исцелил Митрофаний... Я дорого бы дал жить и умереть у его останков... Я жажду приготовиться для жизни вечной!.. И чтобы ничто мирское не отвлекало меня от моей работы отречения... Благословите меня на путь отречения от жизни в миру. Отсюда, из Огнیشانской пустыни, я вернусь в Воронеж к Митрофанию, поступлю там в монастырь...

Хотя слова эти сказаны были Сухоруковым с большим чувством, но старец не отозвался сейчас же своим решением

на этот порыв. Он отвел от Сухорукова свое лицо и смотрел на образ Спасителя, висевший перед ним. Казалось, он молится на икону.

– Что же вы молчите, батюшка? – сказал, наконец, Василий Алексеевич.

– Идти теперь тебе в монастырь, – твердо сказал вдруг старец, как бы очнувшись от молитвы, – нет тебе на это моего благословения... Ты будешь жить в миру. Так надо, и так будет для тебя полезнее. Ты не поспел еще для монастыря. Монастырскую жизнь ты теперь не выдержишь. Не ищи прежде времени того, что будет в свое время. И это придет... но позже, когда ты совершишь свой мирской жизненный путь. Ты очень еще молод и страстен. Ты не изжил еще счастья в семье. Ты полон скрытых стремлений. Не знаешь ты, как велика жертва – отрешиться от женского обаяния, и этой жертвы ты не снесешь. Такие порывистые уходы в монастырь натур страстных, как твоя, чреваты опасностями горших падений. Еще раз говорю тебе: нет на это моего благословения.

Василий Алексеевич стоял, словно пришибленный решением старца, протеста у него не было. Старец подчинил его волю.

– Не обещался ли ты жениться? – вдруг спросил он Сухорукова. – Ведь вы, испорченные злом мира люди, в особенности из круга людей богатых, мало того, что живете греховно и в разврате, вы для своей забавы готовы иной раз загубить жизнь невинной, чистой девушки...

Вопрос этот ударил Сухорукова прямо в сердце.

– Батюшка! – воскликнул он, глядя со страданием на старца. – Вы – истинный прозорливец! Вы все знаете... Простите меня... Я каюсь перед вами. Снимите с меня мой грех. Это было: я давал надежды девушке, я ее обманывал и все это я делал ради своей забавы... Я вызвал в ней чувство, любя только себя и наслаждаясь ее порывами. Делал я это сознательно и обдуманно. Как ястреб, я готов был когтить ее душу. Великое счастье еще, что я не посягнул на честь ее...

– Она теперь замужем? – спросил старец.

– Нет, она, как я слышал, хотела даже в монастырь идти.

– Женитесь на ней, – сказал отец Иларион. – Вот вам ваше искупление и ваше счастье... Она пойдет за вас. Дело еще не потеряно. Ваш жизненный путь – с ней. Она, как и все девушки вашего круга, надо полагать, верующая...

– Да, она религиозна... и я тогда смеялся над этим.

– Женитесь на ней и живите с ней по-христиански, и это ваш путь и ваше счастье, – твердо повторил старец. – Ведь чувство у вас к ней было, и оно осталось. Хоть в малой-то дозе... иначе бы вы не увлекали ее. И чувство это может в вас возрасти в истинную любовь, если вы будете жить с ней в таинстве христианского брака. А знаете ли вы, что такое христианский брак? – сказал вдруг старец. – Это совсем не то, что совершают под видом брака испорченные светские люди, ставящие в отношениях к женщине впереди всего поклонение плоти, поклонение внешней красоте или превра-

тившие брак в сделку, основанную на выгодах... Так знайте же вы, проснувшийся для духовной жизни христианин, что в браке выше всего христианское чувство любви и целомудрие, оберегающее чистоту этой любви... Только тогда плотское общение становится в свое надлежащее место, только тогда оно делается великим таинством воссоздания рода человеческого, становится в гармонию подчинения духу, а не во главу угла само по себе, не в поклонение плоти и ее страстей, как это болезненно сложилось у многих. Эти многие не знают истинного христианского чувства. Они творят лишь подобие любви, каковое подобие тотчас же гаснет вслед за удовлетворением страсти...

Василий Алексеевич жадно воспринимал слова старца, и наряду с этим в его душу запала мысль об Ордынцевой. Запала мысль об искуплении вины пред ней, о чем сейчас говорил ему отец Иларион.

– Уже темнеет, – сказал старец. – Пора и домой. Я пройду с вами по нашим дорожкам. Надо подышать воздухом. Мы там еще поговорим...

Они сошли с клироса и направились к выходу.

## Х

Когда старец и Василий Алексеевич вышли на крыльцо, к ним неожиданно подошел странник. Это был тот самый человек, который рано утром обогнал Сухорукова на мо-

настырской дорожке. Своим костюмом он напоминал тогда Никитку.

– Келейник твой не пускает меня к тебе, – проговорил с сумрачным видом странник, обращаясь к старцу, – а я хочу у тебя, отец, благословиться...

– Бог благословит, – сказал отец Иларион, сходя с крыльца. Он благословил подошедшего чернеца.

– Мне нужно, отец, говорить с тобой, – косясь на Василия Алексеевича, произнес странник.

Старец посмотрел строго на него.

– Я все уже сказал, что тебе нужно было выслушать, – проговорил он. – Разговор наш я помню, и ты знаешь, что я думаю о вашей секте. Больше того, что я сказал, я не могу прибавить. Твоя воля – послушаться истины или оставаться в грехе...

Странник стоял, опустив голову. Он исподлобья недружелюбно смотрел на старца. Видно было, что ему очень не нравилось, что он сейчас выслушал. Словно его что мучило.

– Пойдемте, – сказал старец Сухорукову. – Вы меня проводите до моей келии.

Они пошли по дорожке.

– Этот чернец, – сказал отец Иларион, когда они отошли от странника, – один из многих в очень вредной секте. Вы, может быть, об этой секте слышали? Секта эта хлыстовская. Она в последнее время распространяется. И вот он завлек в свою секту знакомую мне молодую крестьянку из ближне-



го села. Он довел ее своими радениями до умоисступления. Большого труда нам стоило вывести ее из прелести, в которую она, благодаря ему, впала. Теперь этот хлыст потерял свою власть над ней. Она сейчас в девичьем монастыре поблизости отсюда. После всего этого он стал добиваться ко мне. В последний раз, на той неделе, он у меня был и завел разговор о своем хлыстовстве. Я строго осудил эту ересь, указав ему его грех, но он очень упорен в своем увлечении. Не хочет он сознаться в том вреде, который нанес несчастной девушке, хотя совесть его мучает и он не покоен...

Когда старец говорил все это, Василий Алексеевич невольно вспомнил о другой девушке, завлеченной в хлыстовство, вспомнил об участии Машуры и о своем грехе по отношению к ней. Но он скажет обо всем этом завтра на исповеди старцу. «Теперь не время», – подумал Сухоруков. Старец имел очень усталый вид.

Они подходили по дорожкам к монастырскому храму. Стало уже темно.

– Сядем здесь у нашего храма на скамеечку, – проговорил старец. – Захотелось мне еще воздухом подышать. Как хорошо сегодня!..

– Вы так утомились, батюшка, – сказал Сухоруков. – Ведь вы с шести часов утра, не отдыхая, беседовали со всеми нами. Чего-чего вы от нас не наслушались!.. Я удивляюсь, откуда у вас силы берутся... Завтра у вас, я слышал, вся братия монастырская пребывает.

– Служу Богу моему, дондеже есмь, – проговорил тихо отец Иларион. Он глубоко вздохнул. Потом он с любовью посмотрел на Сухорукова. – Ты мне понравился, раб Божий Василий, – сказал он. – У тебя устройство будет хорошее и сердце у тебя горячее... Бог тебя помилует. Ты будешь спасен.

– Скажу только одно, – продолжал дальше старец, – скажу, чего тебе теперь следует особенно беречься в твоём положении, как ты так разгорелся от великого чуда, явленного тебе Господом Богом. Берегись, Василий, одного: берегись, как бы не впасть тебе в прелесть – в бесовские экстазы... И как много людей гибнет от этих увлечений!.. Тебя, разгоревшегося сердцем, тянет на великие подвиги... Подхватило тебя стремление к молитве, ты хочешь быть ближе ко Христу Иисусу... и это, конечно, хорошо. Но знай, Василий, есть молитва – и молитва... Молитва наша должна быть простой и смиренной, в сознании грехов своих... И вот великий для тебя соблазн может явиться на пути твоём – соблазн впасть в молитвы экзальтированные, в неправильные восторги, в сильные душевные движения, вызываемые разными приемами, или в движения, вызываемые взвинченным воображением... Все это – наносное; все это – мираж... Экстатические движения эти, эти радения чреватые развитием в человеке страшной гордости. Человеку при таких деланиях начинает казаться, что он достиг высших степеней... Во время подобных молитв ему даже мерещатся видения, огонь-

ки... Подстревает к нему темная сила в разных образах. Он как бы видит свет... Даже бесовские чудеса начинает совершать... Совершает чудеса, основанные на уверенности в своих чудесных силах. В конце концов человек доходит до того, что возносит себя во Христа, возносит себя в единосущного с Богом Отцом – Сына Божия.

– Ведь вот, погляди, этот странник, который сейчас подходил ко мне, воображает о себе, что он – великий праведник, чуть-чуть не сам Бог, а он просто умоисступленный, большой, заражающий и других своими умоисступлениями...

Прошла минута молчания.

– Однако, пора и на отдых, – сказал, наконец, старец, – идем к моей келии; она тут, около храма...

Они пошли к небольшому деревянному домику, где жил отец Иларион. Старец простился с Василием Алексеевичем. Благословив его, он сказал:

– Завтра, Василий, будь ко мне на исповеди. Я приму тебя после братии.

## XI

В середине ночи Василия Алексеевича, крепко спавшего в своей комнатке, разбудили к заутрене. Она должна была начаться в три часа. На обязанности монастырского гостинника отца Фетиса лежало будить говельщиков, чтобы они не опаздывали к службе. Монастырь брал их как бы под свою

опеку.

Василий Алексеевич встал, оделся и в сопровождении Захара сошел вниз. Несмотря на раннее вставанье Василий Алексеевич себя чувствовал хорошо, голова была свежая. Внизу их встретил отец Фетис с фонарем.

– Я посвечу вам дорогу, – сказал он. – А то вы с вашими слабыми ногами споткнетесь у наших ворот.

Василий Алексеевич последовал за Фетисом. Монах шел впереди с фонарем, покачивающимся у него в руке.

Ночь была звездная и тихая. Мерно ударял монастырский колокол к заутрене. Светло и торжественно было на душе Сухорукова. Он был хорошо настроен. Эта тихая ночь, это прозрачное небо со своими бесчисленными светилами отвечали его думам. За видимым хором светил ему чудились другие бесконечные жизни. Небо это со своими звездами было как бы прообразом иного мира, мира духовного, с тысячами и мириадами духовных жизней, славословящих Христа.

Василий Алексеевич шел за своим провожатым в тихом радостном настроении.

– Не споткнитесь тут! Здесь уступ перед воротами, – сказал отец Фетис. – Я вам посвечу ближе фонарем...

Василий Алексеевич вдруг остановился. Перед ним пронеслось воспоминание о прошлом, оно словно кольнуло его... Фетис со своим фонарем и с предостерегающим возгласом напомнил ему внезапно то, что было в лесу год тому назад... «Какое совпадение и какой страшный контраст!

Ведь год тому назад, – пронеслось в голове Василия Алексеевича, – я шел в такую же звездную ночь с провожатым, который так же освещал мне дорогу... дорогу в лес... мимо пасеки. И провожатым моим был колдун, который вел меня, снявшего с себя материнский крест... И я шел за ним, не зная, куда иду, и был тревожен... Впереди чувствовалось нехорошее дело...

И вот теперь я тоже иду такой же звездной ночью, но только за другим проводником, за служителем Христа, который тоже освещает мне дорогу... Но какой контраст в душе моей с тем, что я тогда переживал! Иду я спокойный и радостный, и знаю, куда иду. Там, в церкви, начнут служение великому Свету Незримому, великому Солнцу, единящему мир духовный... И этот мир уже мне не чужд. В этом духовном мире мне уже близки три светила: мать моя, Митрофаней и старец... Из них, из этих звезд моих, старец живет еще здесь, на земле, где все мы гости на короткий срок... Сегодня я буду еще раз видеть старца, буду прикасаться к нему, буду открывать ему свою душу. Он снимет с нее камни, которые ее давят – снимет с нее эти тяжелые воспоминания о прошлом. И я очишусь от всего, что меня томит... Я знаю путь свой... путь ко Христу небесному... И явятся мне новые откровения на пути моем, и будут сердцем моим познаны неземные радости...»

Василий Алексеевич замечтался в своих мистических грезах. Он шел как во сне. Очнулся лишь тогда, когда отец

Фетис привел его к храму. Из открытых окон храма доносились песнопения. Заутреня уже началась. Он вошел в церковь.

Как и вчера, Василию Алексеевичу было легко отбывать монастырскую службу. В церкви он то горячо молился, то со вниманием вслушивался в ход служения, вслушивался в то, что читалось. Так было потом и за обедней. В особенности внимательно вслушивался Сухоруков, когда в церкви читались Евангелие и Апостол.

За обедней Сухоруков обратил внимание на одно место из Апостола. Монах, который читал книгу, ясно и внятно провозгласил следующие слова апостола Павла из его послания к коринфянам: «Будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом».

Василия Алексеевича поразил смысл изречения Апостола. Он уяснил теперь себе это место, ибо вспомнил слова старца, сказанные вчера. Старец сказал: Иисус Назаретский свел людей с ума, с их языческого ума, открыв им мудрость божественную.

«Да, это именно так, – пронеслось в мыслях Василия Алексеевича, – я понимаю теперь, что хотел сказать Апостол, утверждая, что мудрость мира сего, то есть наш языческий рассудочный разум, есть безумие пред Богом... Христос дал нам другой разум... Он дал нам мудрость познания мира иного, высшего над нашим земным миром, дал мудрость иную, высшую над нашим земным разумом, пол-

ным греха, полным безверия и скептицизма... действительно, полным безумия перед Богом...»

После обедни Василий Алексеевич пришел к себе в гостиницу. Там к нему явился келейник отца Илариона. Явился он по поручению старца. Несмотря на то, что старец был сегодня занят приемом монастырской братии, он не забыл о Василии Алексеевиче; он заботится уже о своем духовном сыне. Через келейника он прислал Сухорукову книгу.

Книга эта оказалась объемистой, размером как Библия. Она была в кожаном переплете и называлась «Добротолубие». Это был сборник из трудов христианских подвижников. То издание, которое прислал Сухорукову отец Иларион, заключало в себе собрание из трудов двадцати пяти подвижников православной церкви.

Василий Алексеевич раскрыл книгу и увидел на заглавном листе такую надпись, сделанную рукой старца: «Благословляю сею книгою вновь обращенного ко Христу раба Божия Василия. Да послужит чтение оной ему на пользу духовную. Советую начать чтение с творений св. Аввы Дорофея, засим перейти к св. Симеону Новому Богослову и Исааку Сириянину, а после сего читать остальных подвижников. Смирный иеромонах Иларион».

Сухорукова глубоко тронуло это внимание старца. Келейник, передавая Василию Алексеевичу книгу, сказал:

– Отец Иларион поручил мне сообщить вам при вручении сей книги такое свое указание. Здесь, как видите, на одной

из страниц сделана закладка. Страница эта отмечена самим старцем. Он желал бы, чтобы вы для начала прочитали именно это место. «Добротолюбие» я хорошо знаю, – продолжал говорить келейник. – Место, указанное старцем, касается духовной религиозной любви. Здесь говорится о любви человека к Богу и к людям... Это в творениях Аввы Дорофея...

Когда келейник ушел, Василий Алексеевич не замедлил взяться за чтение. Он начал вчитываться в отмеченную старцем страницу, и она не могла не поразить его своей глубиной. «Представьте себе круг, – говорил в этом месте св. Авва Дорофей, – и в центре его Бог. От окружности круга стремятся люди к Богу. Пути их жизни – это радиусы от окружности к центру. Поскольку они, идя по этим путям, приближаются к Богу, постольку они делаются ближе друг к другу в любви своей, и поскольку они любят друг друга, постольку они делаются ближе к Богу...»

Василий Алексеевич несколько раз перечитал это место; до того оно ему нравилось. Долго сидел он над книгой, не будучи в состоянии от нее оторваться. Только раздавшийся с колокольни благовест ко всеобщей разбудил его от этого чтения.

## ХП

– Я разъясню тебе, Василий, что есть таинство причащения тела и крови Христовых, – начал отец Иларион, когда



Сухоруков пришел к нему на исповедь. – Ты мне сказал тогда, что веры в причастие у тебя нет.

– Батюшка! – воскликнул Сухоруков, глядя с благоговением на старца. – Когда я в первый раз вошел на этот клирос, я ведь был другим... совсем другим человеком! Я в Христа раньше не верил. Теперь не то! За эти дни, что живу здесь, я переродился... Я ужасаюсь той темноты, в которой блуждал. Сознаю я безумие рассудочного ума моего, отвергавшего Христа.

– Ты принимаешь всю веру? – спросил старец.

– Всю, всю, святой отец! – произнес Василий Алексеевич с горячим чувством. – Исповедую весь православный символ. Но я еще не успел уяснить себе многое... Не успел как следует познать значение таинств. Я был так далек от истины. Вы мне ее открыли, батюшка!..

– Слушай же слова мои, Василий, – сказал старец величаво и торжественно. – Слушай, что я буду говорить тебе о причастии, которого ты завтра удостоишься.

Василий Алексеевич жадно внимал тому, что начал говорить старец.

– Не хлеб и вино ты вкусишь завтра, – заговорил отец Иларион, – когда ты подойдешь к божественной чаше, а причастишься Тела и Крови Христовой. Именно Тела и именно Крови Иисусовой. Пойми, какой страшной близости ко Христу ты удостоишься... Ведь это не только соединение с Ним в духе, но это соединение с Ним и во плоти человеческой...

Наш Господь Спаситель всего себя отдал людям. Причастие, им данное, действительно есть Его Тело и Его Кровь.

– Твои земные глаза, глаза плотские, – продолжал далее свою речь старец, – видят хлеб и вино, но это не должно смущать твою веру, когда ты подойдешь к чаше. Земные глаза твои и не могут иначе видеть... Ведь они, эти глаза, в законах и силах этого земного мира. Они плоть от плоти земной. А Тело Христово, а причастие – вне этих земных законов, все это выше их... Силою Духа Святого земное, материальное – хлеб и вино – преллагаются в Божественное. И этого твои земные очи не могут ощутить... Это чувствуют только очи сердца – очи, рождающиеся от благодати Божественной, рождающиеся вместе с несокрушимой верой в истину слов Спасителя, который на тайной вечере так неотразимо просто и так несокрушимо сильно сказал ученикам своим, преломив хлеб и взяв чашу: сие Тело Мое и сие есть Кровь Моя. И они, его ученики, почувствовали это чудо преложения... Они действительно его почувствовали, ибо сила Христа их осенила. И они увидали очами сердца своего это великое чудо и передали его нам, дабы и мы за ними, отдавшись всецело Духу Святому, встали верою нашей выше законов земного мира, дабы и мы могли причаститься действительно божественного Тела и Крови Христовых...

– И еще скажу тебе, Василий, – добавил старец, – когда ты здесь, в этом храме, раскроешь мне свою душу, сознаешься в грехах своих с полным раскаянием, когда я данной мне вла-

стью отпущу тебе грехи твои и когда ты будешь допущен к божественной чаше, из которой вкусишь Тела и Крови, тогда совершится чудо оздоровления и обновления всего существа твоего. И должен ты понять, Василий, и оценить, какую помощь подает человеку Церковь, направляя его на путь исповеди и таинства Евхаристии. Таинство это отсекает от человека греховную часть его души... Таинством этим истребляется его греховное прошлое...

– А теперь приступим к исповеди, – сказал старец.

И исповедь началась. Она длилась долго. Василий Алексеевич старался, как мог, раскрыть старцу свою душу; он припомнил все, что у него лежало на совести. Во время исповеди были минуты, когда Сухоруков казался очень растроганным. В особенности это было, когда старец возложил на его голову эпитрахиль и произнес отпущение его прегрешений, когда Василий Алексеевич почувствовал себя отделившимся от темного прошлого. С верой и горячим чувством Сухоруков приложился к Евангелию и кресту, лежащему на аналое.

– Теперь пойдем, сын мой. Теперь ты готов для причастия, – сказал старец. – Мы сейчас с тобой оба свое дело сделали. И я сейчас окончил, в сию неделю, мое миру послушание. Иду на покой в келию. Надо с мыслями собраться... Ты проводишь меня до моего домика, и я прощусь с тобой всем. Завтра я уже не увижу тебя. Вперед радуюсь за тебя, Василий, радуюсь твоему празднику причастия. Обо мне

же да будет тебе памятью та книга, которую я послал тебе. Читай ее, перечитывай... Ее на всю жизнь хватит. Чем больше ты будешь в нее вникать, тем больше будешь находить в ней сокровенного и глубокого.

Они вышли на дорожку. Было уже темно. Несколько времени они шли молча. Василий Алексеевич не мог говорить. Сердце его было переполнено самыми разнообразными чувствами... Он только что пересмотрел свою бурную жизнь; он осудил ее и пережил при исповеди минуты глубокого раскаяния.

– Ты близок мне стал, Василий, – прервал молчание старец. – Разрешаю тебе писать ко мне, если что нужно будет, и я с охотой тебе отвечу...

– Батюшка! – воскликнул Василий Алексеевич, – вы так мне необходимы!.. Я чувствую в вас великую опору...

– Сколько отсюда до вашего имения? – спросил отец Иларион.

– Верст около трехсот, – отвечал Василий Алексеевич.

– Не так уж далеко, – улыбнулся старец. – Быть может, вырвешься когда и навестишь меня. Я буду за тебя молиться, молиться о твоём спасении. Помни тот путь, который я тебе указал. Помни совет, данный тебе мной вчера. Я еще раз его повторяю. Постарайся жениться на той девушке, которая тебя любит, душу которой ты смутил. Там твоё счастье. Твоё счастье в семье и в работе для людей. Вы, помещики, так поставлены, что дело любви и милосердия около вас совсем

близко, и дело немалое. Вам дана большая власть. Вы можете быть истинными благодетелями ваших крестьян. Надо только этого хотеть и быть христианином.

– Еще одно скажу тебе, Василий, – прощаясь с Сухоруковым, проговорил старец, – чует о тебе мое сердце и нечто тревожное... Там дома, с отцом твоим тебе будет нелегко. Из твоих слов о жизни вашей я вижу, какой он человек. Но Бог помилует, и испытания пройдут. Они, как дым, рассеются.

Старец в последний раз благословил Василия Алексеевича. Они расстались.

На другой день за ранней обедней Василий Алексеевич причастился Святых Тайн. Он был религиозно настроен. Когда в конце обедни раскрылись царские врата, и Сухоруков в волнении приблизился к иеромонаху, державшему в руках божественную чашу, он почувствовал невыразимые ощущения, его охватившие, почувствовал он ощущения глубокой веры. Известную молитву «Верую, Господи, и исповедую», которую причащающиеся повторяют за священником, Василий Алексеевич проговорил с полным убеждением в истинности ее слов.

Радостный и счастливый, пришел Сухоруков после окончания обедни в свою гостиницу. Захар встретил барина тоже ликующий. Старый слуга был в восторге от всего, что произошло.

Итак, чудо у мощей св. Митрофания и духовная сила старца Илариона сделали великое дело. Сухоруков чувствовал,

что он выздоровел и телом, и духом. Теперь в Отрадное придет совсем не тот Василий Сухоруков, каким он был раньше.

Выехал Сухоруков из Огнищанской пустыни с Захаром на той же тройке и в той же колыхаге, в которой они прибыли третьего дня в монастырь. Тот же ямщик довез их до почтовой станции, где их ожидал дормез вместе с оставленными людьми Матвеем и Иваном.

Возвращение Василия Алексеевича домой было теперь уже недалеко. Он был счастлив и спокоен; он верил, что та сила, которая привела его ко Христу, не оставит его на жизненном пути.

И в этом его пути прежде всего ему предстоит исполнить долг по отношению к девушке, душу которой он смутил, обещая на ней жениться. Ему, Сухорукову, предстоит поступить по данному старцем совету: соединить свою жизнь с жизнью Елены Ордынцевой. Он серьезно возьмется за это дело. И его начинала занимать мысль о Елене, о том, где она теперь и как она отнесется к нему, когда он ее увидит...

# ЧАСТЬ ПЯТАЯ

## I

В Отрадном за время продолжительного отсутствия Василия Алексеевича произошли события, неприятные для старика Сухорукова.

Прежде всего, совершилось следующее: сбежала от старика дебелая Лидия Ивановна, которая, как мы знаем, управляла женской половиной отраднинского дома и была главной экономкой Алексея Петровича. Сбежала она в такой форме, что ничего нельзя было сделать, чтобы вернуть ее обратно. Лидию Ивановну увез с собой штук-мейстер Аристион Лампи, приглашенный Сухоруковым для своих увеселений. Лампи увез Лидию Ивановну в ближайший уездный город, где с ней и обвенчался, и они сейчас же укатили в Москву.

Оказалось, что Лидия Ивановна за время своего хозяйничания у Алексея Петровича в качестве экономки сумела скопить порядочную сумму денег. Алексей Петрович доверял ей делать покупки в уездном городе для дома. Расходы были большие, потому что Сухоруковы жили широко. В уездный город он посылал ее довольно часто, ей вполне доверял, отчетов по покупкам не смотрел и от нее их не требовал. Кроме того, прежде, когда Лидия Ивановна была помоложе,

она была его любовницей. В цветущие годы Лиденьки старик Сухоруков щедро награждал ее различными подарками. Она умела извлекать из своего повелителя всяческие земные блага, умела притом беречь копейку.

К Лидии Ивановне подбился Аристион Лампи, когда узнал, что у нее есть деньги. Кроме денег, Лидия Ивановна вообще была еще привлекательной, красивой женщиной. С Лампи она заигрывала довольно заманчиво, увлекая его на всякие приятные разговоры. Что касается Лампи, то, хотя он и был привержен к выпивке, но, живя теперь в деревне, удаленной от городских соблазнов, он несколько повыправился. Для Лидии Ивановны у него были свои «шармы». Он был сравнительно молод, ему было немного более тридцати лет, а ей приближалось к сорока. Главное же прельщение для Лидии Ивановны здесь заключалось в том, что с замужеством за Лампи она делалась свободной, выходила из своей крепостной зависимости.

Все это кончилось тем, что в один прекрасный день ни господина Лампи, ни Лидии Ивановны в Отрадном не оказалось. Когда это обнаружилось, в отраднинском доме произошел великий переполох. Алексей Петрович снарядил погоню за беглецами, но погоня опоздала. Беженцев уже обвинял один уездный священник, который совершил венчание без «оглашения» и без документов невесты. По этому поводу Алексей Петрович возбудил даже дело в местной консистерии, но это было слабым утешением. Лидию Ивановну он



потерял безвозвратно.

Другое событие, которое тоже огорчило Алексея Петровича, это то, что его бурмистр Иван Макаров, правая рука по хозяйству, человек, пользовавшийся полным доверием своего господина, оказался плутом и мошенником. Он обворовывал Алексея Петровича уже много лет. У этого бурмистра была дочь замужем за богатым мельником в соседнем селе. Случайно обнаружилось, что бурмистр уже давно тайно провозил к мельнику барскую рожь, награждая ею свою замужнюю дочь. Хищение это за последнее время приняло большие размеры. Старику Сухорукову пришлось с бурмистром расстаться. Алексей Петрович был принужден сослать его в дальнюю деревню. Надо было искать нового управляющего, а эта задача была не из легких.

Было за это время у Алексея Петровича и такое дело, которое казалось удачным, но последствия которого были соединены опять-таки с неприятностью.

Алексей Петрович, как мы уже знаем, хотел еще зимой возбудить процесс по размежеванию с соседом Ордынцевым, хотел возбудить процесс относительно того лога, в котором Ордынцев запретил ему охотиться. Он желал прочить Ордынцева за дерзкое письмо, которое тот ему написал. Тогда же зимой он и начал дело с Ордынцевым, доказывая, что означенный лог есть его, Сухорукова, собственность, и утверждая, что лог был будто бы неправильно захвачен Ордынцевым.

Умение Сухорукова дать взятку и ловкая подтасовка свидетелей по этому делу, подтасовка, подстроенная сухоруковским поверенным, привела к тому, что суд присудил лог в пользу Алексея Петровича.

Сухоруков был очень доволен этим судебным решением, но он никак не ожидал тех последствий, к которым привело лишение Ордынцева его собственности. До Сухорукова дошло известие, что старик Ордынцев не пережил такого решения суда, что будто это решение так поразило старика, что его хватил апоплексический удар.

Узнав о внезапной смерти Ордынцева, Алексей Петрович, как он ни был эгоистичен, принял это известие с неприятным чувством. «Зачем эта глупая смерть», – думал он с некоторой досадой. Ведь он хотел только, как он говорил, проучить Ордынцева за его дерзость. Он, может быть, даже и вернул бы ему этот лесок, если бы Ордынцев смирился. Да, наконец, решение суда, будто бы так поразившее Ордынцева, не было еще решением окончательным. Это было решение первой инстанции. И кто мог ожидать, что Ордынцев так отнесется к этому проигрышу в суде...

Старику Сухорукову вообще как-то не повезло за последнее время. Довольно и того, что он остался совсем без рук, лишившись таких помощников, как Лидия Ивановна и бурмистр Иван Макаров. В особенности он привык к своему бурмистру. Это был дельный человек и очень распорядительный, а главное, он умел успокаивать своего барина.

Спокойствие же было очень нужно Алексею Петровичу. Он начинал стареть, начинал, что называется, поддаваться. С некоторых пор у него стала побаливать печень. Он сделался раздражителен и часто сердился. Радостное настроение, которое явилось у него после получения наследства, совсем теперь исчезло. Мало что его тешило. И даже «бержерки» его не веселили.

Алексей Петрович много думал о своем сыне; он начал мечтать о нем, как о своей будущей опоре. Он с нетерпением ждал от сына известий. Вот, думалось ему, Василий на Кавказе поправится, придет домой здоровый, полный энергии. Алексей Петрович отдаст сыну в руки хозяйство по имению. Пускай сын его, Василий, найдет сам между крепостными хорошего себе бурмистра, сам с ним выработается и его наладит. Чего это, в самом деле, Василию все только барствовать, занимаясь конским заводом да охотой, и отдаваться легкомысленному времяпровождению. Погулял он достаточно после своего выхода из полка. Ведь уже два года прошло, что Василий живет в Отрадном без серьезного дела. Пусть и он поработает и даст ему, старику, желанный покой.

Итак, Алексей Петрович начал мечтать о том, чтобы передать сыну на руки все отраднинское хозяйство.

Но те письма, которые получались от Василия Алексеевича из Пятигорска, не утешали старика. Надежда на скорое выздоровление сына с каждым письмом делалась более и более сомнительной.

В особенности было тяжело Алексею Петровичу читать последнее письмо, полученное от Василия. В этом письме, где сын сообщал, что он на днях выезжает с Кавказских минеральных вод, было упомянуто, что здоровье его совсем неважное. По этому письму можно было судить о тяжелом состоянии, в котором продолжал оставаться больной.

Прошло, наконец, более трех недель после получения в Отрадном этого последнего письма, а Василий Алексеевич все еще домой не возвращался. Между тем, судя по сроку его предполагавшегося выезда из Пятигорска, он должен был бы вернуться. «Что это значит?» – спрашивал себя старик Сухоруков. Он стал беспокоиться за сына.

Каждый день Алексей Петрович ждал сына в Отрадное. Он даже начал ходить гулять в ту сторону, откуда должен был показаться сухоруковский дормез. При этих прогулках Алексей Петрович вглядывался вдаль, в показывающиеся черные точки, появляющиеся на большой дороге и выраставшие потом или в какой-либо проезжий тарантас, или в мужицкую телегу. Всмотривался он в этидвигающиеся пятнышки, надеясь увидеть между ними знакомый экипаж. Но прогулки эти приносили Алексею Петровичу только разочарование.

Он начал сильно тревожиться. «Уж не случилось ли чего с Василием, – мелькало у него в уме. – За последнее время мне что-то совсем не везет, – роптал он с горечью. – Все шишки на меня повалились!.. Остался я без рук в Отрадном, хоть из

дому беги, и от сына известия неутешительные... И он так долго не возвращается».

## II

В одну из своих прогулок по проспекту, идущему на большую дорогу, старик Сухоруков увидел, наконец, на горизонте показавшуюся вдаль большую движущуюся точку, в которой можно было предположить отряднинский дормез. Алексей Петрович сначала сомневался, их ли это экипаж, но вот экипаж стал выясняться. Старик Сухоруков убедился, что это едет его Василий. Сердце его забилось от радости. Пройдет еще каких-нибудь десять минут, и он обнимет сына.

Алексей Петрович любил сына совсем по-своему, чисто эгоистически. Любил он его потому, что чувствовал в сыне много общих с собой родовых черт – те же страстность и неукротимость, те же талантливость и живость. И лицом своим Василий был в отца. У отца были такие же черные блестящие глаза. Старик в былое время радовался на Василия, видя в нем свое отражение по веселости и остроумию. Но то было до болезни Василия Алексеевича – до той тяжелой болезни, которая сделала молодого Сухорукова унылым и мрачным.

Теперь старик Сухоруков, глядя на приближающийся экипаж, думал: «Буду ли я на моего Василия радоваться, когда его увижу?.. Неужели он в том же положении, как и был?»

Неужели – без малейшего улучшения? Ведь, надо сознаться, последнее его письмо из Пятигорска было очень неутешительное». Старик не отрывал глаз от быстро движущегося дормеза, который свернул с большой дороги на проспект, приближаясь к тому месту, где стоял Алексей Петрович. Наконец, дормез подъехал к старику.

Каково же было удивление и какова радость Алексея Петровича, когда он увидел, что его Василий без труда вышел из экипажа. Старик глазам не верил... Василий Алексеевич имел совсем бодрый вид. Он только слегка опирался на палку. Отец кинулся к нему на шею; они горячо обнялись.

– И как тебе не грех, Васенька, – заговорил старик, – так меня тревожить!.. Ты писал из Пятигорска, будто бы ты плох. Да ты совсем молодцом! Я уж не знаю, чего тебе надо... Какого еще нужно лечения... Овер – великий врач!.. Он понял, что было необходимо. Кавказские воды чудеса делают!..

– Это не воды, – сказал, улыбаясь, Василий Алексеевич, – тут совсем другое дело.

– Ну, ври там... другое!.. – рассмеялся старик. – Мы все это потом досконально от тебя разузнаем, как и что... А теперь, любезный друг, пусти-ка меня к себе в экипаж. Тут еще до дома с полверсты будет. Вместе и доедем... Такой конец пешком для тебя, пожалуй, будет труден.

Василий Алексеевич не возражал. Захар выскочил из дормеза. Он стоял без шапки перед господами. Седые волосы его развевались. Радостный, смотрел он на Алексея Петро-

вича.

– Ну что, Захар, вылечил своего барина? – сказал ему Сухоруков.

– Благодарение Господу! Совсем они поправились, – весело отвечал старый слуга. – Святой Митрофаний их на ноги поставил-с.

– Что?.. Что ты там вздор мелешь! – прервал его старик Сухоруков. – Он у тебя совсем неисправимый маньяк! – сказал Алексей Петрович сыну, усаживаясь в карету. – Садись, Василий, мы с тобой живо докатим.

Господа уселись. Дормез двинулся к дому.

– Ах ты, порода сухоруковская! – сказал Алексей Петрович, нежно глядя на своего Василия. – Я без тебя в Отрадном с тоски умирал. Все у меня тут не ладилось. словно все против меня сговорились! Представь себе, экономка-то моя Лидия Ивановна укатила в Москву с музыкантом Лампи. Она за него замуж вышла. И как она это ловко подстроила!..

– Этого еще мало! – продолжал изливать старик свои горести. – И не так это важно... Что мне, в самом деле, эта дрянь! Тут, голубчик, другое случилось... Меня, оказывается, ограбил бурмистр Иван Макаров, которому я так доверял. Тысяч на пятнадцать он меня жиганул. Я его, каналью, сослал в дальнюю Грязновку. Такой оказался мерзавец! Нынче не знаешь, как быть с людьми. Кругом тебя все мошенники!.. И вот я, Василий, надумал, – сказал Алексей Петрович серьезно и значительно, – надумал я, уж ты как там хочешь,

а взять тебя за бока. Ты должен мне помочь. Я передам тебе все хозяйство и все управление имением. Возись уж ты с ними, подлецами!..

– Очень рад, отец, быть тебе полезным, – сказал Василий Алексеевич. – По правде сказать, в последнее время, перед моей болезнью я стал даже тяготиться праздностью.

Говоря это, Василий Алексеевич вспомнил о старце, вспомнил о том, что внушал ему отец Иларион относительно помещичьей власти, которая должна быть направлена на пользу крестьянам, вспомнил, что говорил ему старец о его, Сухорукова, будущей работе для людей. – Я очень рад помочь тебе, отец, – повторил еще раз Василий Алексеевич. – Все сделаю, чтобы быть делу полезным.

Алексей Петрович еще раз горячо обнял сына.

– Отлично все устроим, – продолжал радоваться старик. – Будешь хозяйство по нашей экономии направлять. У тебя и деньги будут. Будешь возиться с мужиками, возьмешь в свои руки опеку над ними. Сам выберешь себе бурмистра. В людях, я знаю, ты понимаешь. Ты ведь способный... И глаза у тебя молодые... У тебя воровать не будут, как меня обкрадывали. А себе, Василий, я оставляю наш конский завод. Это уж моя забава! И как все будет хорошо! – размечтался Алексей Петрович. – В хозяйстве ты меня успокоишь... Успокоишь мою старость. Она, подлая, ко мне уж подползает... Намедни у меня печень разболелась. Просто смерть! Вчера только отошло, и сегодня я по-прежнему весел...



Дормез подкатил к отрадинскому дому. Дворецкий и прислуга сбежали с крыльца. Они кинулись высаживать господ.

– Ну, Василий, ступай к себе на свою половину, – сказал старик. – Умойся и почистись, а то ты весь в пыли. Приходи ко мне в кабинет; мы потолкуем. Уж так-то я рад, что ты поправился. Я теперь с тобой помолодею...

### Ш

– Расскажи мне, Васенька, все по порядку, как шло твое лечение, – говорил старик своему сыну, когда тот пришел к нему в кабинет и они оба уселись на мягком турецком диване, покуривая трубки. – Все подробно мне, Василий, расскажи, как что было и как, наконец, тебе лучше сделалось...

– Как лучше сделалось, – повторил слова отца молодой Сухоруков. – Да не решаюсь я, отец, все это тебе рассказывать; боюсь я быть с тобой откровенным... Я этим рассказом, пожалуй, так тебя удивлю, что ты и слушать меня не будешь...

– Интересно, чем ты меня удивишь, – проговорил Алексей Петрович, с любопытством взглянув на сына.

– Так слушай, отец! – начал Василий Алексеевич. – Ведь это действительно меня святой Митрофаний исцелил, – твердо сказал он. – Это истинная правда! Говорю о Митрофании, рискуя получить от тебя то же прозвище, каким ты

наградил сейчас Захара за эту новость. Итак, я тебе серьезно говорю: я действительно в Воронеже у мощей святого Митрофания был, когда возвращался из Пятигорска сюда в Отрадное, и, должен тебе сказать, возвращался я такой же больной и парализованный, каким был раньше, и вот там, у мощей, действительно произошло мое исцеление.

– До чрезвычайности любопытно, – медленно протянул Алексей Петрович. – До чрезвычайности любопытно, – повторил он, – как ты исцелился у этих мощей...

Молодой Сухоруков начал свой рассказ. Начал он с того, как бесплодно шло его лечение, как через два месяца пятигорской возни он совершенно разочаровался в докторе Гефте, которого рекомендовал Овер, и как он наконец выехал с Кавказа в полном отчаянии, не видя исхода в своем положении. Затем Василий Алексеевич стал подробно рассказывать о своей остановке на постоялом дворе, о своем удивительном сне и о том, что произошло в Воронеже в монастырском соборе. Рассказывая это, он очень воодушевился.

– Ты можешь мне верить или не верить, отец, – закончил Василий Алексеевич свой рассказ, – но что было, то было: внесли меня люди в монастырский собор к Митрофанию на руках, внесли они меня такого же парализованного, каким ты меня видел здесь в Отрадном, а вышел я из собора на своих ногах. Спроси об этом, если мне не веришь, наших людей... Да, наконец, я сам сейчас перед тобой здоровый на этом диване сижу...

Прошло несколько минут молчания. Прервал молчание Алексей Петрович.

– Верно ли ты все это себе представляешь, мой дружок Васенька? – сказал старик.

– То есть, как это, верно ли себе представляю! – проговорил Василий Алексеевич, – я говорю то, что действительно было, и ничего тут я себе не представляю...

– Так-то оно так, – протянул Алексей Петрович, – но я иначе, чем ты, все это могу объяснить... И мое объяснение будет, кажется, ближе к истине чем твое, и думаю я, что твой Митрофаний в этом чуде ни при чем.

Очередь выражать свое удивление перешла теперь уже к Василию Алексеевичу. Он широкими глазами посмотрел на отца и сказал:

– Да чем же это объяснить, как не чудом у мощей? Ведь я же это чудо сам почувствовал... Ведь я всем своим существом почувствовал, как Митрофаний меня исцелил...

– Объяснить это можно, – сказал уверенно и спокойно старик, – теми же водами и тем же пятигорским лечением, пользу которого ты отвергаешь. Лечение это, Васенька, не было бесплодно, как ты думаешь. Секрет тут в том, что результаты лечения пришли позже. Они и сказались в Воронеже довольно для тебя явственно. А твое чудо у мощей, как ты его вообразил, это не что иное, как случайное совпадение с тем, что во всяком разе должно было произойти. О действии пятигорских вод я недавно слышал от нашего уездного пред-

водителя Выжлецова. Он тоже в Пятигорске был и там лечился. Эти его рассказы мне все освещают в твоём событии. Выжлецов говорил, что пятигорские горячие воды во время самого лечения иногда ничем себя не проявляют. Выздоровление от них приходит уже потом. Это самое, мой друг, и было с тобой...

Алексей Петрович замолчал и не без некоторого торжества правоты своих воззрений смотрел на сына. Он думал, что своими словами переубедил его. Однако неожиданно для себя он увидел на лице Василия нечто совсем новое – он увидел, что лицо сына выражало от этих его слов как бы страдание и большое волнение. Он даже заметил, как Василий нервно сжал одной своей рукой пальцы другой руки, и они у него хрустнули. Несомненно было, что слова старика несколько сына не разуверили, а только взволновали. Старик решил успокоить и утешить сына.

– Совсем не сомневаюсь я, Васенька, – сказал он мягко, как только мог, – не сомневаюсь я в полной искренности твоего рассказа, и ты, пожалуйста, не смущайся от этих моих слов. Все то, о чем ты мне говорил, несомненно; ты, действительно, это перечувствовал. Ты перечувствовал это, когда ноги и руки твои развязались. Думаю я только, что твой сон и твоё воображение у мошей явились в сущности проявлением твоего инстинктивного усилия развязать свои члены. В исцелении всякого больного влияют и усилия его натуры. Это, конечно, так. Но главная и основная причина твоего

настоящего выздоровления – это, я твердо уверен, действие серных горячих ванн. Это для меня ясно...

– Я знал, – отозвался, наконец, с грустью Василий Алексеевич, – что ты, отец, мне не поверишь, поэтому и затруднялся тебе все рассказывать; затруднялся сообщить о том, как совершилось надо мной великое Божие чудо, и вот откровенно тебе скажу, нелегко моему сердцу видеть такую предвзятость в твоём безусловном отрицании высших сил, которые, между тем, для меня столь несомненны. И видеть мне это нелегко, отец, потому, что я искренно тебя люблю...

– И люби, Васенька, и я тебя люблю, – сказал старик, – но только не следует, мой друг, от этих моих воззрений волноваться и близко все это к сердцу принимать, ибо все это, поверь мне, пустяки. Ты не думай, Василий, обо мне так уж дурно; я твою веру не осуждаю. Оставайся при ней, сколько хочешь... Маньяком тебя, как Захара, я никогда не назову и не могу я не признать, что у тебя своя, недурная логика, согласованная с твоими стремлениями и мечтами. Я и не посягаю разрушать твои эти мечты и иллюзии... Ты напоминаешь мне в этом отношении твою покойную мать, которая была удивительная по своим высоким качествам женщина, но которая всю свою жизнь жила в фантасмагориях. Не унаследовал ли ты у нее эти черты? Впрочем, мне кажется, что у тебя все это должно пройти... Мать твоя принадлежала совсем к другому веку и другому воспитанию. По своему образованию она знала меньше, чем знаем мы. Мне кажется,

твоя мечтательность – все это больше как бы наносное... Все это, вернее, следы твоей продолжительной болезни. Пройдет время, и ты сам увидишь, как все наносное с тебя схлынет. Через месяц или через два мы с тобой опять возобновим наш этот разговор и почувствуем мы тогда оба, что по взглядам нашим мы будем много ближе, чем теперь... Ни ты за меня, ни я за тебя страдать не будем... Так-то, мой дорогой друг Василий! – закончил свою речь старик.

Этот разговор отца с сыном оставил свои следы; он выяснил им обоим, несмотря на дружелюбный характер самой беседы, до чего они сделались далеки в основных своих воззрениях. Это они оба сразу почувствовали; но будущее в их отношениях каждому из них представлялось розно. Старик Сухоруков, зная своего Василия, каким он был раньше, не сомневался, что сын освободится от этих, как он понимал, суеверий, навеянных болезнью; отец не сомневался, что сын вернется к прежнему образу мыслей, и они снова заживут по-старому. Что же касается молодого Сухорукова, то он после этого разговора понял, что прежняя его связь с отцом не возобновится. Ему видно было, что отец очень тверд в своем атеизме, в этой основе его своеобразной нравственности. Сам же он теперь не мог уж разделять греховных радостей отца, и это обстоятельство, как он предчувствовал, должно будет отдалить их друг от друга...

## IV

Уже на следующий день своего приезда в Отрадное Василий Алексеевич приступил к первым шагам хозяйничания в отраднинской экономике. Время было важное для хозяйственных дел: предстояли усиленная молотьба хлеба и реализация урожая. Отраднинский винный завод, которым управлял немец-винокур, начал свою работу. Василий Алексеевич с рвением взялся за новые обязанности. Надо было вникнуть в дело и, по возможности, скорее им овладеть.

Имение Сухоруковых было большое. К Отрадному принадлежало несколько деревень. Во всех этих деревнях были хутора, которыми заведовали хозяйственные старосты. В одной из этих деревень оказался обстоятельный экономический староста, которого звали Спиридоном. Он был грамотный и понравился Василию Алексеевичу. Молодой Сухоруков решил испробовать его в качестве бурмистра, решил сделать Спиридона своим ближайшим помощником по управлению отраднинской экономией и по опеке над сухоруковскими крепостными.

Главное, с чего Василий Алексеевич начал свою деятельность, это с прекращения корчемства, которое завел у себя в имении и в ближайшем округе его отец, которое старик Сухоруков с помощью бывшего бурмистра Ивана Макарова организовал хитро и остроумно, сделав из корчемства доход-

ную для себя статью.

В ярмарочные дни в соседних селах, когда там ожидалось большое скопление народа, водка из отраднинского винного завода провозилась по ночам в эти села и там тотчас же распускалась между знакомыми крестьянами-корчемниками. Корчемники же эти и спаивали народ, приезжавший на ярмарку. Провоз водки совершался организованной для этого отраднинской дворней, и совершался он с такими хитростями и предосторожностями, что местный откупщик, несмотря на все усилия поймать контрабанду, ничего тут не мог поделать.

Василий Алексеевич, взяв в свои руки хозяйство, приступил к уговорам отца отказаться от этого опасного для них занятия корчемством. Он представил отцу, что в настоящее время, когда они получили наследство и дела их поправились, вовсе уж нет такой надобности прибегать к подобному отчаянному средству увеличивать свой доход. Василий Алексеевич поставил вопрос об уничтожении корчемства очень круто. Он решил даже отказаться от заведования хозяйством, если эта система спаивания окружного населения и своих крестьян останется в имении. Не без труда он убедил родителя прекратить корчемство. Но когда он этого достиг, он вздохнул свободно, ему было приятно сознать, что первый его шаг к оздоровлению администрации в Отрадном был им осуществлен так скоро.

Кроме того, в первые же дни хозяйствования Василия



Алексеевича обнаружили новые сюрпризы в мошенническом ведении дела бывшим бурмистром. Не говоря уже о разных мелких грехах – кумовстве и лицепрятнях, практиковавшихся этим вершителем крестьянских дел, перед Василием Алексеевичем раскрылась еще одна грандиозная плутня Ивана Макарова. В одной из маленьких экономий имения, в стороне от дороги, в лесу, обнаружилось целое тайное гумно со скирдами хлеба, которые не были введены в учет по конторе имения и которые Иван Макаров приберег было себе, чтобы потом втихомолку перемолотить этот хлеб зимой в свою пользу и взять за него деньги. Василий Алексеевич, обнаружив это, сейчас же удалил того старосту, который участвовал в этой плутне бурмиистра. Когда о найденном тайном гумне узнал от сына старик Сухоруков, узнал об этом новом для него мошенничестве Ивана Макарова, обнаруженном в дополнение к тому, что раньше ему самому было известно, он очень рассердился и решил было даже принять меры к ссылке Ивана Макарова в Сибирь на поселение, но Василий Алексеевич уговорил старика все это простить и предать забвению, оставив Ивана Макарова на положении сосланного со своим семейством в дальней Грязновке и лишенного теперь всякой власти. Найденное тайное гумно представляло немалую ценность. Теперь старик Сухоруков сразу ощутил, какую пользу приносит его сын, взявшийся за ведение хозяйства в Отрадном.

Но все это было еще только началом деятельности мо-

лодого Сухорукова. Главное у Василия Алексеевича было впереди. Когда он приведет в порядок дела по имению, он займется тогда уже самими крестьянами, займется их благоустройством.

Надо сказать, что в те времена опека помещиков над крепостными была очень велика. Внутренняя жизнь крестьян вполне зависела от господ. Крестьяне владели данной им от помещиков землей на общинном праве; дела их решались крестьянским сходом, но постановления схода приводились в исполнение лишь с утверждения помещика или его представителя. Василий Алексеевич принял для себя за правило лично входить в эти дела. Прошло только две недели с тех пор, как молодой Сухоруков взялся за управление имениями отца, и вот уже два крупных крестьянских дела были разрешены на сходах при его присутствии, и он оказал здесь свое влияние. На сходах при его участии закончены были два семейных раздела крестьян. Василию Алексеевичу нравилось, как старики схода, которым подчинялась молодежь, относились к общественному делу. В то время община была учреждением истинно благотельным для крестьян. В ней тогда преобладали добрые влияния и силы. Народ был гораздо религиознее, чем теперь. У него была развита внутренняя христианская совесть; было развито стремление решать свои дела «по Божию». Василий Алексеевич любил толковать на сходе со стариками. Он многому у них учился. Влиял он, в свою очередь, и сам на стариков, и дело у него с народом

пошло ладно.

Молодой Сухоруков обратил также внимание на религиозные нужды крестьян, на состояние отраднического храма и положение местного священника отца Семена. Относительно этого священника, как помнят читатели, Василий Алексеевич еще во время своей болезни выдержал горячий спор с Захаром, защищавшим и оправдывавшим тогда действия отца Семена, признаваемые Сухоруковым неблагоприятными. Оправдывал Захар эти действия тем, что отраднинская экономия мало помогает священнику, а у отца Семена большое семейство, и ему «жить надо».

Василий Алексеевич пригласил к себе отца Семена, долго с ним говорил, всмотрелся в него ближе и увидел, что священник совсем уже не так плох, как они с отцом порешили в своих безапелляционных резолюциях. Действительно, положение отца Семена с его многочисленным семейством и малыми средствами оказалось очень тяжелое. Василий Алексеевич объявил священнику, что та помощь, которая ему шла от отраднинской экономии, будет значительно увеличена, и что он, Сухоруков, поэтому надеется на более христианское отношение священника к крестьянам. Этим Василий Алексеевич намекнул отцу Семену на неправильность в деле получения им денег за совершение треб. Отец Семен чуть не заплакал, когда молодой Сухоруков затронул этот деликатный для него вопрос. Видно было, что его самого тяготила материальная зависимость от крестьян.

Наконец Василий Алексеевич заговорил с отцом Семеном об отрадническом храме, о порядках в храме и остался доволен ответами священника на поставленные вопросы. В ближайшее воскресенье молодой Сухоруков обещал священнику быть в храме у обедни.

Воскресенье это наступило, и Сухорукову понравилось, как отец Семен служит в церкви. После окончания обедни Василий Алексеевич подошел к священнику и сказал ему, что он готов с охотой быть полезным приходу, что он пойдет в церковные старосты, если крестьяне его выберут. И вот со священником было тут же решено, что в следующий праздник батюшка предложит крестьянам выбрать своего барина в церковные старосты.

Начав таким образом заниматься делами крестьян по общине и по приходу, молодой Сухоруков стремился действительно быть полезным крестьянам. Он помнил слова отца Илариона, сказанные ему при прощании в Огнищанской пустыни. Старец сказал тогда, что его, Сухорукова, назначение – в работе для своих ближних, в работе для окружающего его деревенского люда. В этом именно и заключается, говорил старец, христианский долг помещика. Слова эти сделались главной основой деятельности Сухорукова. И что показалось знаменательным Василию Алексеевичу, это то, что старец, прощаясь с ним и давая эти советы, словно предвидел, что ожидает Сухорукова, когда он вернется домой. Оказалось, что отец с первых же слов встретил сына своим решением

поручить ему вести все отрадинское хозяйство и взять на себя опеку над крестьянами.

Василий Алексеевич помнил и другой завет, данный ему старцем, – завет соединить жизнь с жизнью той девушки, которая его полюбила и которую он смутил своим ухаживанием, своими намеками и обещаниями.

Чем больше Сухоруков думал об этом завете старца, тем больше он вспоминал об Ордынцевой, об этой чистой сердцем девушке, и тем более его самого начинало тянуть к ней. Теперь он непременно возьмется за дело своей женитьбы на Елене, так он решил по приезде в Отрадное.

С первых же дней своего возвращения Василий Алексеевич стал справляться о Елене, узнавать о ней при удобных случаях, но делал это осторожно, не желая выдать кому-либо своих намерений относительно девушки.

То, что он знал об Ордынцевой, было ему нерадостно выслушивать. Прежде всего, до него дошел слух о внезапной смерти старика Ордынцева; при этом ему сказали, что смерть эта была будто бы вызвана судебным делом, затеянным его отцом. Правда ли было или нет, что такова была причина смерти старика, но Василия Алексеевича здесь опечалил, главным образом, самый факт отнятия его отцом у Ордынцевых их собственности. Вместе с тем молодой Сухоруков не мог не предвидеть, что ему придется выдержать борьбу с отцом по поводу предполагаемого брака.

Но прежде, чем говорить о своих намерениях отцу, Васи-

лию Алексеевичу надо было иметь сведения о самой Елене. По наведенным справкам он узнал, что она сейчас находится в деревне вместе с матерью. Но долго ли она будет тут жить? И наконец, неизвестно, как она отнесется теперь к нему, если он найдет случай с ней увидаться. Каково теперь ее настроение? Если тогда, после его поступка с ней, после того, как он перестал у них бывать, она была близка к уходу в монастырь, то теперь, после потери отца, это ее решение, может быть, еще более окрепло? Ему, Сухорукову, необходимо увидеть ее, поговорить с ней, и тогда все выяснится. Но как увидеть Елену? Нигде он сейчас ее встретить не может. Мать и дочь Ордынцевы, как он узнал, ни у кого в настоящее время не бывают. Им теперь не до знакомых... Что же ему делать? Ехать прямо к ним... Ехать к старухе Ордынцевой и просить у нее руки ее дочери? Но на это Василий Алексеевич не решился. Этим можно было испортить все дело. Можно было нарваться на то, что мать Елены, возмущенная бесчестными действиями отца и сына Сухоруковых, просто-напросто не примет его и запрет ему навсегда дорогу к дочери.

Долго Василий Алексеевич был в раздумье, как поступить, на что решиться, пока к нему не пришло одно известие, которое заставило молодого Сухорукова сделать, наконец, определенный шаг. Известие это он получил от отраднического священника отца Семена. Отец Семен недавно был у Ордынцевых на их храмовом празднике; он служил там вместе с местным священником панихиду по умершему

Ордынцеву. Старуха Ордынцева сообщила в разговоре отцу Семену, что она через месяц собирается с дочерью в Москву, что в деревне они больше жить не будут.

Когда эта новость пришла к молодому Сухорукову, он сильно взволновался и даже плохо спал эту ночь. Он почувствовал близкую возможность потерять Елену, потерять ее навсегда, и только теперь он понял, до чего она ему стала дорога. За последнее время он так часто мечтал об этой девушке! Василия Алексеевича вдруг неудержимо потянуло к Елене. И вот что пришло ему в голову. Он минует все препятствия и прямо обратится к ней. Он напишет ей письмо и пошлет ей его, будь что будет... Он сделает так, что письмо ей доставят в собственные руки. В эту бессонную ночь молодой Сухоруков, лежа в постели с открытыми глазами, охваченными темнотой комнаты, мысленно сочинял свое письмо Елене. То, что он изложит в этом письме, быстро проносилось в его голове.

Он откроется ей во всем, что у него на душе, откроется, к чему он теперь стремится... Он будет умолять ее ему ответить, хотя двумя словами... И если ему суждено выслушать от нее отказ, то, конечно, он заслужил это страшное ему наказание, и ему тогда останется лишь сознавать свое горе, что он, безумец, был так близок от счастья и так ужасно его потерял.

Он напишет еще Елене, что тогда он был совсем не тем, чем стал теперь. Тогда он не понимал, в чем истинное сча-

стве, и гнался только за миражами и иллюзиями... Если же она, во имя христианского чувства любви, простит ему, и если он ей не противен, то пусть позволит ему увидеть ее, хотя на несколько минут, и он объяснит ей, какой с ним произошел нравственный переворот после его мучительной болезни и после того, как он чудесным образом исцелился у мощей св. Митрофания...

Василия Алексеевича охватил порыв сейчас же писать это письмо. Он вскочил со своего ложа, накинул халат, подошел к письменному столу, зажег свечи и стал писать. Написал он письмо без поправок одним махом. Оно вылилось у него легко и свободно. Когда он кончил писать и перечитал написанное, когда он запечатал письмо в конверт и надписал на нем – «Елене Ивановне Ордынцевой в собственные руки», он только тогда свободно вздохнул, и ему сделалось легко на душе. Он вспомнил слова старца относительно женитьбы. Уверенность, что он устроит свое счастье, вернулось к нему. Отец Иларион так упорно советовал ему жениться на этой девушке, и Василию Алексеевичу теперь казалось, что это непременно должно совершиться. Завтра же он отправит письмо к Елене с Захаром.

Василий Алексеевич помолился Богу, прочитал еще раз молитвы, которые он, по совету отца Илариона, читал каждый день перед сном. Когда он кончил молиться и погасил свечи, в окна уже брезжил свет; на дворе рассвело. Успокоенный, лег Сухоруков в свою постель. Крепкий, здоровый



сон скоро охватил его.

Проснувшись утром, когда Захар вошел в комнату, Василий Алексеевич встретил его словами:

– Захар, я дам тебе поручение. Надеюсь, ты об этом никому болтать не будешь. Дело тут секретное...

Захар весь насторожился. Он остановился перед барином, ждал приказаний.

– У тебя есть кто-нибудь из знакомых между дворовыми людьми господ Ордынцевых в их усадьбе? – спросил молодой Сухоруков. – Это верст двадцать отсюда... село Горки...

– Есть, сударь, там один, – ответил Захар, – мне кумом приходится... Он повар господский.

– Ну вот и отлично! – проговорил Сухоруков. – Поезжай-ка ты, Захарушка, сегодня к этому твоему куму в гости. Кстати, нынче праздник – Казанская. Я вот тебя на этот праздник и отпускаю к твоему куму, и заодно возьмешь ты от меня письмо для передачи. В этом письме все наше дело и будет... А дело такое: улучи ты минутку, когда барышня Ордынцева будет одна. Поймай там ее, где хочешь; это уж твое дело. Подойди к ней и тихо, чтобы никто не видал, отдай ей это письмо. Попроси у нее ответ и, когда она тебе его даст, возвращайся домой, думаю, коли все это тебе удастся, вернешься ты сегодня вечером, а может быть, и завтра. Так вот, Захарушка, какое это дело... И знать об этом деле будут только трое: я, да барышня Елена Ивановна, да еще ты, мой верный слуга...

– Будет сделано, сударь, – проговорил Захар. – Барышня она хорошая, Бог поможет...

– Возьми это письмо, вот оно, – сказал Василий Алексеевич. Он снял со стола запечатанный конверт и протянул его Захару. – Спрячь его получше и скажи бурмистру, чтобы тебе лошадь дали по моему приказу. Объясни ему, что ты отпросился в гости на праздник и что я тебя отпустил.

Захар взял письмо и положил его бережно в карман.

– Ну, ступай, Захарушка, – напутствовал барин своего слугу. – Постарайся дело получше справиться...

Через час Захар выехал из Отрадного с письмом барина к Елене Ивановне Ордынцевой.

## VI

Старику Сухорукову было приятно видеть, с какой энергией сын его взялся за хозяйство. Главное, что ему было здесь приятно, это сознавать, что он себя избавил от всяких забот по хозяйственной возне. Между тем, дело от этого только выиграло. Ясно было, что оно попало в хорошие руки. Отец почувствовал в сыне действительную опору, и новая их жизнь, по-видимому, наладилась.

Не понравились только Алексею Петровичу некоторые, как ему казалось, странности, которые он стал замечать в сыне. Во-первых, старика Сухорукова удивило то, что сын его отказался от участия в большой охоте с гончими и борзыми

– в охоте, которую старик затеял вскоре после возвращения Василия из Пятигорска и на которую он пригласил несколько человек соседей. Как раз в тот день, когда все собрались на охоту, молодой Сухоруков оказался в отсутствии. Он уехал в дальнюю Грязновку и свое это отсутствие потом оправдывал неотложностью хозяйственных дел. Алексей Петрович понять не мог, как это такой страстный любитель охоты, каким был его сын, как он мог перенести подобное лишение.

Затем странным казалось старику, что сын его, когда в Отрадном съезжалась компания гостей, делался совсем не тем, каким он был прежде, то есть веселым рассказчиком, любителем поврать и посмеяться. Он стал, по мнению старика Сухорукова, излишне серьезен. В особенности он делался скучным, когда собутыльники Алексея Петровича начинали щеголять друг перед другом веселыми двусмысленностями и скабрёзными анекдотами.

К странностям сына Алексей Петрович отнес и то, что Василий разрешил отраднинским крестьянам выбрать себя в церковные старосты. «И охота Василию навязывать на себя эту обузу! – думал старик. – Мне кажется, – иронизировал он, – сын мой начинает записываться в святоши... И зачем он сдружился с этим глупым попом Семеном? Что он в нем нашел? Понять не могу...»

Но надо сказать, все эти осуждения отцом сына не отзывались до сих пор на их отношениях. Старик Сухоруков по-прежнему любил сына и был с ним по-прежнему хорош.

Иногда только отец слегка подтрунивал над «чуждачествами» Васеньки.

В тот самый день, когда Василий Алексеевич отправил Захара с письмом к Елене Ордынцевой, Алексей Петрович надумал утром навестить сына на его половине. Он хотел поговорить с ним наедине по одному делу, касавшемуся его лично – оно касалось того женского персонала, которым раньше заведовала Лидия Ивановна, сбежавшая так бесцеремонно из Отрадного.

Старик Сухоруков знал, что в этот день Василий должен быть дома, потому что был праздник – Казанская. В этот день хозяйственных работ не производилось. Молодому Сухорукову незачем было уезжать из дома.

Алексей Петрович застал сына в его кабинете за чтением книги. Молодой Сухоруков так был увлечен чтением, что вовсе не заметил, как вошел к нему отец. Первое, что бросилось в глаза старику при взгляде на книгу, которую читал сын, это необыкновенно большой размер ее, напоминающий размер церковных книг.

– Здравствуй, Василий! – сказал отец. – Что это ты с таким увлечением читаешь?

Увидев отца, Василий Алексеевич сложил книгу, встал, поздоровался с отцом и сказал: – Это одна духовная книга... Я ведь люблю разные духовные вопросы... Тебя, я знаю, такие книги не интересуют...

– Почему не интересуют! – проговорил старик. – Очень

интересуют. Покажи-ка мне эту псалтырь-то твою...

Василий Алексеевич подал отцу книгу.

– Экая она толстая! – сказал Алексей Петрович, взяв книгу и раскрыв ее. – И какое мудреное у ней название!.. – Он не без комического усилия прочитал заглавие – «Добротолюбие, или Словесы и Главизны Священнаго Трезвения». Батюшки мои, какие тут страшные слова! – воскликнул он. – Это что же такое, трезвение? Это против пьянства, что ли, тут написано?..

– Не только против пьянства, – ответил с улыбкой сын, – а и против всякого человеческого греха.

– Ну, это действительно ты прав, мой друг, – засмеялся отец, – это не по моей части. Я вообще, ты знаешь, не особенно против грехов... Мне даже некоторые грехи очень нравятся... Грех, Васенька, это весьма сладкая вещь...

Отец уселся на кресло против сына и поглядывал не него с благодушием.

– Очень этот грех во мне еще силен, Васенька! И я этому даже рад. Я вот, Василий, о своих греховных делах и пришел с тобой поболтать...

Василий Алексеевич не без любопытства ждал, что ему скажет отец.

Старик начал прежде всего с того, что руганул подлую Лидию Ивановну, которая его так мошеннически оставила, а она очень ему удобна для его домашнего обихода. Девушки его при ней были шелковые. Никаких историй при ней не

было. Она умела держать их в руках, и ему тогда было «чудесно». Теперь же, без нее, с ними сладу нет. Такая пошла интрига, что одно мучение. Кроме того, чувствуется отсутствие хорошей экономки в доме. Он передал ключи дворцовому, да тот для заведования домашним хозяйством никуда не годится – слаб он по распорядительной части: повара скверно стали готовить и другие пошли упущения... Старик поэтому решил восстановить у себя прежний режим. И вот между его «бержерками» есть одна заслуженная девица. Это Лиза, прачкина дочь... Она была подручной у Лидии Ивановны и знает порядки. Она к тому же уже на возрасте. Поэтому он, Сухоруков, и заблагорассудил поставить ее на место Лидии Ивановны и подчинить ей женский персонал. Но ему хотелось бы для начала деятельности Лизы ее поощрить, а именно устроить получше ее мать. Она его об этом просила... Он и вспомнил о том хуторе, где раньше жила любезная Васеньки Машура Аниськина. Недавно он, когда была охота, проезжал мимо этого хутора и видел, что машурин домик стоит заколоченный без всякой пользы.

– Машура твоя, – пояснил Алексей Петрович сыну, – пропащая девка стала... В Отрадное дошли слухи, что она с ума сошла. Исчезла за ней и ее мать... Где они теперь пропадают, никто не знает. А ты, я вижу, никого себе на место Машуры не берешь... Стало быть, тебе этот хутор не нужен. Я и пришел к тебе, Василий, с предложением: не уступишь ли ты этот хутор мне для матери Лизы? Я эту мамашу там посе-

лю. У Лизы это будет вроде дачи. Она меня недавно об этом очень просила. Они тогда будут в восторге, и Лиза будет для меня во всю стараться...

– Впрочем, я ведь не знаю, – оговорился старик, – может быть, тебе этот хутор нужен... Ты, быть может, на место Машуры новенькую себе наметил, тогда дело другое. Пускай хутор этот останется в твоём распоряжении, как и раньше было. Мы можем для лизиной маменьки новую комбинацию сочинить... И ты, Василий, пожалуйста, не думай, что я хочу твои планы расстраивать. Если я заговорил об этом, то только потому, что домик там стоит заколоченный, пустой...

– Бери, пожалуйста, отец, этот хутор. Сделай такое одолжение, – сказал Василий Алексеевич с радостью в голосе. – Хутор этот мне совсем не нужен, и никого я на место Машуры брать не хочу.

– Как мы скоро, Васенька, поладили, – проговорил весело старик. – Очень это хорошо... А ты что же, Василий, – сказал он, пытливо взглянув на сына, – в монахи записаться вздумал?.. Началось твое, в некотором роде, «иже во святых житие»?

Василий ничего не ответил. Он не поддержал шутки отца. Несмотря на это, старик Сухоруков не унимался, он был в болтливом настроении. Ему еще хотелось говорить.

– В самом деле, Василий, – начал он, поглядывая на сына, – с тобой вообще что-то удивительное происходит... Мое отцовское сердце это чувствует. Да вот хоть это: последний

раз была у нас охота и необыкновенно удачная, а ты от нее почему-то удрал, отговорившись хозяйственными делами. Ну сознайся, голубчик, разве могут таких охотников, как мы с тобой, от этой драгоценной потехи дела отвлекать. Точно для хозяйственных забот другого времени нет...

– Если ты хочешь моего откровенного слова, – сказал наконец Василий Алексеевич, – почему я на охоте не был, так это потому, что не христианское дело разжигать страсти такой потехой. Потеха-то она – потеха, да только вредная для души...

– Ого! Вот оно что!.. Даже страшно от такой морали... А по-моему, напрасно, Василий, ты этого наслаждения себя лишаешь... И мораль твоя неверная... Охотники, сам знаешь, премилые люди.

Василий Алексеевич ничего не отвечал отцу. Он не хотел с ним спорить. Слишком много нужно было говорить, чтобы на это возражать.

– Ах! Васенька, Васенька! – продолжал свои поучения Алексей Петрович. – Погляжу я на тебя, какой стал чудак. А я, было, пришел уговаривать тебя ехать с нами завтра на такую же охоту. Хочу я ее повторить в таком же большом виде. Осень сейчас великолепная. Завтра ко мне приедет со своими охотниками предводитель Выжлецов. Здесь недалеко от нас в Ордынцевом логе, оказывается, масса волков. Мы этот лог возьмем... преинтересно будет!.. И, скажу тебе, мне будет очень приятно в этом логу охотиться. Я буду в первый



раз там, как хозяин и собственник. Ведь лог этот, ты знаешь, я у старика Ордынцева себе отсудил...

– Слышал я про это, – с серьезным лицом проговорил Василий Алексеевич.

– Да, мой друг, мне это великолепно удалось, – самодовольно сказал Алексей Петрович. – Одно только досадно, зачем этот Ордынцев вздумал по случаю этого процесса так скоро умереть. Ведь он мог еще выиграть процесс во второй инстанции. Ну а теперь, конечно, его дамам меня не одолеть... Куда им со мной судиться! Этот лесок им, что называется, улыбнулся навсегда...

Тяжело было все это слушать молодому Сухорукову. Он вспомнил о Елене... Его взяло за сердце от этих слов отца, он не вытерпел и сказал:

– Не христианское это дело, отец, отнимать у небогатых людей их собственность.

Алексей Петрович удивленно посмотрел на сына и насмешливо произнес:

– Что ты это на меня выдумываешь, Василий! Я не отнимал у них ничего. Ты, любезный друг, скор в своих суждениях... Мне этот лог на законном основании присудил наш суд.

– Подкупленный твоим поверенным, – заметил Василий Алексеевич.

Алексей Петрович вспыхнул.

– Этот разговор мы бросим! – сказал он, вдруг вставая. – И прошу тебя, Василий, мне на будущее время нравоучений

не читать. Береги свою мораль для себя... Мне она совершенно не нужна! – сказав это, он резко вышел из комнаты.

Василий Алексеевич остался один под тяжелым впечатлением того, что произошло у него сейчас с отцом. Ему было досадно на себя за свою неосторожность и горячность, досадно на то, что он не стерпел, когда отец начал бахвалиться над ничтожеством матери и дочери Ордынцевых. Василий Алексеевич сознавал, что ему не следовало бросать отцу свои укоры. Ведь такими укорами он его не исправит, а только раздражит.

Придя в этот день в столовую обедать вместе с отцом, как это было всегда в их обиходе, Василий Алексеевич подошел к старику и просил простить его, если он ему был неприятен.

Алексей Петрович принял это извинение благодушно. Они помирились. Отец сделался по-старому мил с сыном. Обед прошел у них гладко, хотя, конечно, размолвка эта не могла не оставить у каждого из них своего следа...

Вечером вернулся Захар. С замиранием сердца смотрел на своего старого слугу Василий Алексеевич, когда тот входил в его комнату.

Захар подал письмо от Елены. Дрожащими руками распечатал Сухоруков это письмо и прочитал там следующие строки:

«Буду рада Вас видеть, но для этого я должна приготовить тапан, которая стала очень нервна. Надеюсь уговорить ее Вас принять. Я извещу Вас, когда Вам можно будет к нам

приехать.

Елена Ордынцева».

Прочитав письмо, Василий Алексеевич вздохнул полной грудью. Впереди ему улыбалось счастье. Слова отца Илариона начали сбываться.

## VII

Только на третий день Василий Алексеевич получил от Елены Ордынцевой известие о том, когда он может приехать в Горки. Записку от барышни привез ордынцевский кучер. Он передал эту записку Василию Алексеевичу в собственные руки. В записке Елена сообщила, что мать ее согласилась позволить Василию Алексеевичу возобновить с ними знакомство. Елена Ордынцева от себя добавила, что лучше всего, если Василий Алексеевич приедет в Горки в ближайшее воскресенье. Он в этот день встретит ее с матерью у обедни в их сельской церкви.

Молодой Сухоруков с великим нетерпением ждал этого воскресенья.

Между тем, в Отрадном произошло событие, которое взволновало всех. Заболел старик Сухоруков. Он простудился на той охоте, на которую так усиленно приглашал сына. Василий Алексеевич, как мы знаем, от охоты отказался. В этот день он уехал из Отрадного за тридцать верст в соседнее торговое село Троицкое, куда шла большая поставка хлеба

из Отрадного. Вернулся молодой Сухоруков из Троицкого поздно ночью.

Захар, встретив своего барина, доложил, что Алексей Петрович после охоты «изволили захворать, у них сделался сильный жар. Барская барыня Елизавета хотела было послать за доктором, да старый барин этого не пожелали. Барина напоили горячей малиной, уложили в постель под одеяла. Они теперь заснули и изволят почивать».

Молодого Сухорукова это встревожило, но на другой день утром пришла к нему сама барская барыня Елизавета и успокоила его насчет отца. Она сказала, что жар прошел, только у него слабость, да жалуется немного на боль в боку. При этом она доложила, что барин хочет скоро вставать и будет одеваться.

Василий Алексеевич просил Елизавету дать ему знать, когда отец встанет. Он сейчас же придет на его половину.

От Захара молодой Сухоруков узнал, что гости, которые были вчера на охоте, все разъехались, что в Отрадном остался один только князь Кочура-Козельский. Князь, оказывается прибыл к ним опять для гощения, чтобы составить компанию Алексею Петровичу.

Скоро молодому Сухорукову дали знать, что Алексей Петрович встал и пьет чай вместе с князем у себя в кабинете. Василий Алексеевич тотчас же отправился на половину отца.

Он застал отца в полном «приборе». Домашний фигаро Егор успел уже навести красоту на своего барина. Алексей

Петрович сидел в бархатной щеголеватой куртке за стаканом чая и покуривал свой неизменный «жуков». Лицо его было бледно и несколько осунулось за эту ночь сравнительно с тем, как Василий Алексеевич привык его видеть. Но, по-видимому, старик чувствовал себя не так уж дурно и бодрился. При входе сына он довольно весело смеялся какому-то анекдоту, который рассказывал князь Кочура. Последний сидел против старика Сухорукова и жестикулировал, сообщая что-то с большим увлечением. Князь Кочура-Козельский имел довольно своеобразный вид. Это был подвижный человек неопределенных лет, с усами, торчащими, как у кота, в разные стороны, с приглаженными височками. Одет он был в венгерку с черными шнурами и в широчайшие панталоны, которые так не гармонировали с его небольшим ростом.

– Здравствуй, Василий! – сказал старик, увидев вошедшего сына. Они поцеловались. – Садись-ка с нами, послушай князя, что он тут рассказывает...

Князь Кочура вскочил.

– Кого я вижу! – воскликнул он. – Неужели это вы, Базиль?.. И каким молодцом вы вернулись с Кавказа!

Молодой Сухоруков поздоровался с князем.

– Я слышал про твое нездоровье, отец, – сказал Василий Алексеевич, присаживаясь к старику. – Что это с тобой было? Мне говорили, ты простуду схватил.

– Пустяки, – ответил старик. – Была и простуда... Сейчас все отошло. Вчера к вечеру у меня печень хотела было се-

рьезно заболеть. Вот это было бы неприятно.

– Надо побережь себя, отец... Ты неосторожен... Не посылать ли за доктором?

– Не надо, Василий, – сказал Алексей Петрович. – Пожалуйста, за меня не бойся. До сих пор натура моя хоть куда... Правда, бок немного ноет, да это пустяк, – подбадривал он себя.

Прошла минута молчания.

– Мы вчера, Василий, – начал другим, уже более бравурным тоном старик, – опять волков затравили. Каково это! А? И, представь себе, мои собаки утерли нос предводителю... Выжлецов одного только волка с собой увез... Удачная была охота!.. Сегодня дома буду отсиживаться. Веселости в ногах что-то нет... Вот, кстати, князь приехал, – сказал старик, поглядывая на Кочуру-Козельского, – будет меня утешать... Это истинный мой благодетель!.. Все сплетни мне про наших соседей рассказал.

Князь Кочура встрепенулся от этой похвалы. – Не все... далеко не все... еще у меня много! – быстро заговорил он.

– Ну, вот, видишь, какой он милый, – продолжал Алексей Петрович. – А нынешним летом, когда ты на Кавказе лечился, он для меня был единственным ресурсом... Такой компаньон, что другого подобного во всем мире нет!.. И куплеты он под фортепьяно мне пел, и стихи декламировал, и на бильярде со мной играл... А сегодня, как я посадил себя под арест, будет со мной в шашки сражаться... Не так ли, князь?

Будем сражаться? Ты оцени, Василий, какой он мне друг, – сказал старик, похлопывая князя Кочуру по плечу.

– Базиль стал горд со мной, – сказал князь как бы обиженным тоном. – Он за что-то на меня сердится.

Василий Алексеевич начал успокаивать князя.

– За что, князь, мне на вас сердиться? Вы такой для отца моего незаменимый человек!.. Ваши таланты так разнообразны!..

– Действительно, разнообразны! – подхватил с жаром старик. – Ты послушай, какие он новые стихи выучил! Сегодня мне их уже декламировал. Стихи поэта Милонова\*. Это, пожалуй, почище будет твоего Лермонтова!

Чтобы утешить князя, который сидел, насупившись, Василий Алексеевич сделал вид, что интересуется этими стихами. Князь не заставил себя просить.

– Стихи эти, милый Базиль, – сказал князь, оживившись, – написаны Милоновым к некой Лиле, к возлюбленной поэта. Вот, слушайте, какая это прелесть... Они вам наверное, понравятся... – Князь начал декламацию:

О, Лила, доколе не все отцвело,  
Венком ароматным украсив чело,  
Власы распустивши, как роза душисты,  
На полные груди, на перси волнисты,  
Прижмися, лилейной рукой сплетясь,  
Ты к другу, устами с устами слепясь.  
Пусть дух воспыхает, любовью объятый!

Пусть грозное время к нам мчится с закатом!  
И дни перед нами, как стрелы летят...

– Не правда ли, забористые стишки?.. – сказал Кочура, подмигивая. Он глядел с торжеством на Василия Алексеевича.

– Очень, очень хороши! – поддержал князя старик Сухоруков. – Какая страсть у этого Милонова! В особенности вот это место, – начал он смаковать. – Как это там у вас, князь?.. А? Кажется, так: «Прижмися, лилейной рукой сплетясь, ты к другу, устами с устами слепясь...»

Алексей Петрович казался в полном восторге от этих стихов.

– Мне эти стихи что-то не нравятся, – запротестовал молодой Сухоруков. – Что это за слово «слепясь»?! Ведь это и не по-русски.

– Ну, ты ничего, любезный друг, в этих делах не понимаешь!.. Ты стал, что называется, анахорет. Ты просто разочаровался в женщинах... И скажу тебе – все ваше молодое поколение разочарованное стало... Какое-то расслабленное... Не правда ли, князь? – обратился он к Кочуре. – Нет! Я, черт возьми, более эпикуреец, чем вы все, молокососы... Меня разочарования еще не тронули. Князь Кочура это хорошо знает...

Кочура хихикнул и погрозил пальцем старику Сухорукову.



– О, вельможа Сухоруков! Вы любите цветы наслаждения!..

– Очень люблю, князь, очень люблю... И стихи ваши великолепные!.. Так-то, анахорет Василий!.. – подтвердил старик свое мнение. – Ничего ты, любезный друг, в изящной поэзии не понимаешь! А теперь, мой князенька, – обратился он к Кочуре, – возьмите-ка вы шашечницу, подсаживайтесь-ка ко мне поближе, и начнем мы нашу партию... в поддавки по три рублика... желаете? Я вам с удовольствием проиграю, ибо вы гораздо лучше меня в шашки играете...

– Мне в игре всегда везет, – сказал князь Кочура, расставляя шашки. – А вам, вельможа Сухоруков, зато в любви счастье!.. Оттого-то вы мне и проигрываете...

Прятели начали игру.

– «*La donna e mobile!*» – запел тоненьким голоском князь, продвигая свою шашку. – Вот мы и поддадим вам сейчас тречку, да-с! Очень приятно, Базиль, – вдруг обратился он к молодому Сухорукову, – когда это в любви везет! Не правда ли? А? Помните ли, у Ордынцевых... Я, бывало, со стариками по маленькой в карты выигрываю, а вы в это время с дочерью романсы распеваете. Недурно тогда у вас это шло... А? Не правда ли? – Князь Кочура хихикнул и посмотрел смеющимися глазами на Василия Алексеевича.

Сухоруков ничего не отвечал. Он собрался уходить. Ему были противны эти хихиканья. – Мне пора к себе, – сказал он отцу. – Там у меня бурмистр ждет. Да, вот еще что, отец,

я получил вчера в Троицком с купцов деньги. Когда прикажешь их тебе передать?

– В другой раз, Василий, в другой раз сосчитаемся, – проговорил старик, увлеченный игрой в шашки. – Сегодня мне что-то совсем не хочется думать... Побереги эти деньги у себя...

Василий Алексеевич простился с отцом и князем Кочурой и пошел в свою половину.

«Нехорошо стал выглядеть отец, – думал Василий Алексеевич, сидя у себя в кабинете. – Стал он раздражителен, и вид его мне не нравится, хоть он и бодрится... Он всячески себя обманывает, и страсти темнят его мысли... Все мечтает о цветах наслаждения... И князь Кочура ему подыгрывает, читает скверные стихи, бьющие на чувственность... И вот он в каком-то словно забытье... в страстях своих тешится! И, что поразительно, – все они, люди нашего круга, одним и тем же живут, и старые, и молодые... ничего не хотят знать, кроме своих страстей и прихотей. Если же эти страсти перестают их тешить, что бывает даже с молодыми буйными натурами, как это было с Лермонтовым, то тогда они приходят в отчаяние и начинают, как он, кричать, что жизнь есть пустая и глупая шутка...

Да, действительно, – сказал себе Сухоруков, – жизнь есть глупая шутка, но только для тех, кто живет во тьме своего неведения, отдаваясь своей злой воле... Кто живет рассудочным умом язычника, кто не знает иной жизни, не знает, что

есть мудрость иная, высшая над нами, пришедшая к людям из иного, высшего, мира...»

## VIII

Мы уже говорили, что Василий Алексеевич с нетерпением ждал того дня, когда он, наконец, увидит Елену. При свидании с ней он надеялся получить определенный ответ на сделанное предложение. Он, быть может, тут же получит и согласие матери Елены на задуманный брак.

Он решил после этого согласия обо всем сказать отцу. Сухоруков не сомневался, что уговорит отца примириться с затеянным делом. У него были к тому, как ему казалось, весьма основательные доводы. Заводить же разговор о браке раньше времени он не хотел. Он боялся, как бы это не повело к бесполезным спорам. Отец, пожалуй, станет отговаривать сына, а это поведет к излишнему раздражению их обоих...

В то воскресенье, в которое было назначено молодому Сухорукову быть у обедни в Горках, чтобы встретиться с Еленой, – в это воскресенье Василий Алексеевич проснулся рано утром в особенно приподнятом настроении духа. И этому была своя особая причина. Кроме предстоящей радости увидеть Елену, о которой Сухоруков мечтал, как о человеке, в коем он найдет счастье, его посетила другая радость, и притом радость совсем особенная. Этой ночью во сне он почувствовал как бы прикосновение к себе своей матери...

«Да, именно, – отдавал себе отчет в этом событии Сухо-руков, – это было как бы прикосновение ее души к существу моему... Это именно так было!» Василий Алексеевич не мог вспомнить, как приснилась ему мать. Не мог вспомнить он, что она ему говорила, но проснулся с сознанием, что сейчас был с ней и что была великая радость от их общения. Событие это оставило в нем на сегодняшнее утро необыкновенно светлое впечатление. Сегодня все казалось ему прекрасным, тревоги его рассеялись.

А вчера еще Василий Алексеевич ложился спать далеко не спокойный, и причиной этому был его отец. Хотя старик, по видимому, поправился от своего недомогания, но отношения его с сыном стали что-то плохо ладиться. Правда, за последнее время никакого недоразумения у них не было. Все, казалось, шло хорошо и гладко, но сердце сердцу весть подавало. Уж очень разные люди с отцом они сделались, и оба начали это ощущать. Когда они оставались одни с глазу на глаз, им словно не о чем было говорить, кроме как о хозяйственных делах, да и то Василию Алексеевичу надо было быть осторожным, как бы нечаянно не затронуть чем-нибудь отца. И это было тяжело. Князь Кочура-Козельский, как третье лицо между ними, сделался теперь им обоим необходим.

Итак, сегодня Василий Алексеевич перед своей поездкой в Горки проснулся рано утром с сердцем, полным веры и успокоения. Чудесное прикосновение к нему его матери – существа, как он был уверен, истинно святого, – принесло

ему это спокойствие духа. С этим прикосновением он осознал, что все наши земные страхи и сомнения ничтожны перед ощущениями высшего мира...

И он, Василий Сухоруков, так горячо теперь стремится к этому высшему миру и знает, что и его Елена, которая доверчиво продолжает идти к нему навстречу, – что и эта религиозная девушка жаждет того же духовного света... Свет этот соединит их обоих. Они оба будут ощущать единение в их христианских чувствах друг к другу и к Богу. Благодать Божия укрепит их силы, даст им энергию преодолевать всякое зло, энергию достигнуть того высшего счастья, которое обещал людям сам Спаситель.

Мысли эти проносились в голове Василия Алексеевича, когда он рано утром в важное для него воскресенье собирался в Горки, где он увидит Елену Ордынцеву и где окончательно решится его судьба.

– Прикажи-ка, Захарушка, – сказал он вошедшему Захару, – сейчас же запрячь мою тройку гнедых. Я сегодня у обедни буду в Горках.

Захар остановился перед барином и совершенно неожиданно для последнего проговорил, улыбаясь:

– К невесте, стало быть, едете?.. Хорошее дело, сударь, надумали. Потому что она – барышня на редкость...

– Ты все спешишь, Захар, – засмеялся Сухоруков. – Я еще предложение не делал...

– Хорошая она барышня, – продолжал свое Захар, – по-

следний раз, как я к ним от вас с письмом ездил, такие они мне показались прекрасные...

– Как же ты тогда увидел ее? – заинтересовался Сухорукков.

– Я их, значит, сначала на кухне увидел, – отвечал Захар. – Сижу это я с моим кумом, поваром ихним, на кухне, разговоры с ним развожу... Вдруг они входят. Начинают с поваром по хозяйству насчет обеда толковать, и видно: все это они хозяйственное понимают, и понимают они даже много лучше другой заправской экономки. Повар потом мне говорил, что барышня не только для себя, а и по людской за всем смотрят и очень наблюдают, чтобы людей хорошо кормили, и такие они к народу жалостливые... Очень об них хорошая слава идет.

– Ну а как ты письмо-то мое ей передал? – спросил Василий Алексеевич.

– Да так, сударь!.. Можно сказать, все это очень ловко вышло... Они, это, с поваром по хозяйству говорят, а я думаю: как они будут уходить, я их и догоню на дорожке к барскому дому... Как они вышли из кухни, и я за ними, поймал их, остановил и подаю письмо, говорю, что от вас прислан. А они сначала словно даже как испугались... на меня, это, смотрят... ничего не говорят. Ну а потом письмо у меня взяли. Я им говорю, что ответ, мол, нужен... Докладываю, что барин мне приказал без ответа не уезжать... Они на это ничего мне не сказали, а с вашим письмом пошли в дом. Ну, думаю, они

теперь письмо читать будут, а потом будет и ответ. Вернулся я на кухню, а повар в это время готовит кушанье, старается за соусом. Совсем он и не заметил, как я барышню догнал и ей письмо отдал. Тут скоро барышня опять на кухню пришли... еще, значит, повару указание дать, а потом, уходя с кухни, на меня посмотрели. Я, стало быть, сейчас за ними. Тогда они мне ответ свой и отдали...

– Молодец ты у меня, Захарушка, – сказал Сухоруков, выслушав этот рассказ. – На все руки ты мастер... Так вот, голубчик, прикажи-ка скорее лошадей запрягать да сейчас же подавать. Пора уж и ехать. Мне отец Семен говорил, что обедня в Горках в девять часов начинается.

Захар поспешно вышел исполнить приказание барина.

## IX

Мы до сих пор ничего не сказали о том, что представляла собой Елена Ордынцева и какова была семья, где выросла эта девушка.

Отец Елены, отставной майор Иван Иванович Ордынцев, был человек весьма самолюбивый и от своего большого самолюбия много потерявший в жизни. После окончания отечественной войны двенадцатого года он, недовольный тем, что его обошли наградами, вышел в чистую отставку, благо ему досталось после смерти дяди небольшое имение с недурным домом и старинной барской усадьбой. От своего отца

Ордынцев ничего не получил. Тот умер бедняком, прожив все свое состояние. Род Ордынцевых был старый дворянский род. Имение Горки, которое получил Иван Иванович от своего дяди, находилось в роду Ордынцевых не одно поколение. Когда-то оно было большим, но с течением времени таяло. От него отрезались куски, которые переходили в другие руки. И Ивану Ивановичу оно досталось в весьма скромных размерах.

Устроившись в деревне, Иван Иванович женился на девице, достаточно образованной, из хорошей дворянской семьи, но тоже обедневшей. Женился он, потому что надо было жениться, ибо жить в деревне, не обзаведясь семьей, было бы тяжело. Партия эта к тому же оказалась подходящей.

Жена его Людмила Павловна была бойкой особой. Первое время они часто ссорились, но потом отношения их наладились. Людмила Павловна была хорошая женщина и сдерживала, как могла, крутой нрав своего супруга.

Через год после женитьбы Бог послал Ордынцевым сына, которого называли тоже Иваном, а еще через год – дочь Елену. Когда дети подросли, Людмила Павловна настояла у мужа, чтобы тот отдал сына в кадетский корпус, а дочь в один из московских институтов. Сын Ордынцевых по окончании корпуса поступил на военную службу. Служил он на Кавказе. Он тяготился своей службой, желал бы выйти в отставку и жениться, но не мог этого сделать, потому что имение Ордынцевых было маленькое; его только хватило на прожи-



ть стариков с дочерью. Елена Ордынцева окончила институт уже пять лет назад. Ей теперь минуло 23 года.

В те времена такие годы для девушки считались уже большими. Тогда замуж выходили обыкновенно в шестнадцать – восемнадцать лет. Людмила Павловна начинала терять надежду выдать дочь замуж, и это ее мучило. Деревенские женихи, которые сватались, не нравились Елене, они не удовлетворяли ее вкусам. Через три года после того, как Елена поселилась в деревне, Людмила Павловна стала думать о другом средстве пристроить свою дочь. У Людмилы Павловны была в Москве влиятельная родственница, ее кузина. Она была начальницей того института, где училась Елена. Людмила Павловна стала уговаривать мужа отпустить Елену в Москву к родственнице, которая звала ее к себе. Но старик Ордынцев этого не хотел. Он ни за что не желал расстаться с дочерью. Мать спорила со стариком, доказывала ему, что в деревне трудно найти Елене подходящую партию, говорила, что они, заставляя дочь жить с собой, заедают этим ее жизнь, что лучшие годы проходят на безлюдии. Но старик Ордынцев был эгоистичен в любви к своей Елене. Он не имел силы расстаться с величайшим для него наслаждением видеть у себя каждый день свою дочь, к которой он так привязался.

При таких условиях семьи Ордынцевых и начал бывать у них молодой Сухоруков. И мы уже знаем, как Василий Алексеевич полтора года назад оборвал свои ухаживания за Еленой – ухаживания, вызвавшие ее чувства к нему; мы уже зна-

ем, что для него тогда эти ухаживания были лишь развлечением, которое тешило его.

Но теперь Василия Алексеевича охватило уже не фальшивое, а действительное чувство к Ордынцевой; охватила его решимость на ней жениться. Он, как мы сказали выше, с великим нетерпением ждал того воскресенья, когда поедет в Горки и увидит Елену, увидит ту, которая, как он убедился из ее письма, готова идти ему навстречу.

Елена Ордынцева, с жизнью которой молодой Сухоруков решил соединить свою судьбу, была симпатичной девушкой. Печать доброты и душевной мягкости лежала на ней. Она не была красива, но у нее были свои привлекательные стороны – выразительные голубые глаза, смотрящие ясно и пристально, необыкновенная нежность лица, легкий румянец щек и маленькая родинка над розовыми губками. Густые белокурые волосы украшали ее голову. Правда, черты ее не были правильны, но такие лица, как у Елены, полные поэтического выражения, могли весьма нравиться. ореол спокойствия и душевного равновесия лежал на всем ее облике. Говорят, противоположности сходятся. Может быть, поэтому и нравилась Елена Василию Алексеевичу, что она являлась противоположностью его натуре, необыкновенно живой, с большим темпераментом.

## Х

Экипаж Василия Алексеевича быстро несся по торной осенней дороге, накатанной извозом. Усадьба Ордынцевых, куда ехал Сухоруков, была расположена на возвышенном берегу маленькой речки. В усадьбе этой был старый господский дом, старинный парк с полуразвалившимися беседками и другими следами барских затей. Приблизительно в ста саженях от дома находилась церковь, к ней вела липовая аллея. Дальше от церкви начиналось село. Церковь была старинная, построенная в допетровскую эпоху.

Хотя наступил уже ноябрь месяц, тем не менее погода стояла на редкость. Воздух, правда, был свежий, но было тихо. Солнце ярко светило на чистом небе. И ясно, и светло было на душе Василия Алексеевича.

Когда показалась вдали ордынцевская усадьба, сердце молодого Сухорукова забилося от трепетного ожидания. Он жадно смотрел на ордынцевский дом, вырисовывающийся между старинными деревьями парка.

Коляска Сухорукова спустилась к мельничной плотине, расположенной под усадьбой. Тройка гнедых перебралась скоро через небольшой мост над запрудой, где шумела вода, прорывавшаяся сквозь деревянные заставни запруды. Навскачь понеслись лошади в гору, стремительно взбираясь по подъему, подгоняемые криком сухоруковского кучера. На-

конец коляска подкатила к церкви, где уже собрался народ.

Несколько крестьянских телег и два помещичьих экипажа стояли у церковной ограды. Подъехав к церковным воротам, Василий Алексеевич соскочил с коляски. Спешным шагом прошел он в храм. Обедня уже началась. Он поспел к чтению Евангелия.

В старину для помещиков в церквах отводились особые места, которые располагались на правой стороне храма у самой стены. Здесь обыкновенно для них расстилался ковер и ставились стулья. Вошедши в церковь и продвинувшись несколько вперед, Василий Алексеевич начал смотреть направо, ища глазами Елену. Он увидел ее там, на почетном месте, вместе с другими двумя неизвестными ему дамами. Матери Елены в церкви не было.

Василий Алексеевич смотрел на Елену. Она стояла все та же, какой он привык ее видеть полтора года назад. То же выражение лица, тот же поэтический облик. Она стояла, опустив голову, ничего не замечая, поглощенная тем, что читал священник.

Оторвался, наконец, и Сухоруков от лицезрения Елены. Он начал вслушиваться в богослужение. Священник, седой старик, исполнял его с большой простотой, и пение на клиросе гармонировало со службой священника. В те времена это пение было простое и бесхитростное, без тех ухищрений, которыми увлекаются нынче не только господские, но и деревенские певчие, искажая своими новшествами величе-

ственные по простоте церковные напевы.

Стоя в церкви, Василий Алексеевич усердно молился о своем будущем счастье, молился о ниспослании ему силы на христианском пути его, молился он и об Елене. Наряду с этими молитвами перед его мысленным взором проносилось все то важное и значительное, что совершилось с ним так еще недавно: это великое чудо у мощей св. Митрофания, разбудившее его духовную жизнь, затем общение со старцем, снявшим с глаз его повязку предвзятого скептицизма. Наконец, даже сегодня дано ему было почувствовать, что надмирные силы не оставляют его... Мать его этой ночью во сне пришла к нему и дала ему радость веры. Василию Алексеевичу так было хорошо в храме, где с ним молится и она, указанная ему старцем, его будущая подруга жизни.

Обедня кончилась. Василий Алексеевич направился к тому месту, где стояла Елена. Елена не видела подходящего к ней Сухорукова; она в это время говорила с незнакомыми ему двумя дамами, которые ее обступили.

Василий Алексеевич подошел взволнованный. Увидав его, Елена оторвалась от докучливых собеседниц. Приветливо протянула ему руку, глядя своими ясными, полными веры в него глазами. Сухоруков почувствовал в ее взоре эту великую в нем уверенность, почувствовал, что она простила ему все прошлое. Они горячо поздоровались, поздоровались, как старые друзья.

– Почему Людмилы Павловны нет в церкви? – спросил

Василий Алексеевич. – Она нездорова?

– Немного простудилась, – отвечала Елена, – но она вас примет. Она ждет вас дома... Пойдемте.

Они вышли из церкви. Сухоруковский кучер подал было лошадей, думая, что господа сядут в коляску. Но Василий Алексеевич приказал ему ехать прямо к дому. Он предложил Елене пройти с ним пешком. Ему хотелось побыть с ней наедине. Они пошли по аллее к дому.

– Ваша татап собирается в Москву?.. – сказал Сухоруков, желая проверить то, что он слышал от отца Семена.

– Да, – отвечала Елена, – мать хочет, чтобы я поступила в институт... на службу. Тетя обещала устроить меня классной дамой. Она зовет нас приехать. Ведь вы знаете, усадьба наша переходит к брату... Он бросает службу и женится. Скоро он сюда будет.

Этот ответ смутил Василия Алексеевича. Опять охватила его боязнь потерять Елену. Ведь положение классной дамы в институте, которое ей обещали, – это большой для нее соблазн!..

– А вы сами как решили? – спросил он с большим страхом, глядя на нее в упор.

– Конечно, я останусь здесь, – сказала она, весело взглянув на молодого Сухорукова. – Конечно, останусь здесь, – повторила Елена, добавив еще тихо, опуская глаза, – после вашего последнего хорошего письма... – Лицо ее озарилось светлой улыбкой.

– Так вы согласны... вы согласны быть моей женой? – порывисто спросил Сухоруков.

– Конечно, согласна, – отвечала Елена.

Он схватил руку Елены и прижал ее к своим губам. Он не хотел выпускать ее дрожащей руки, но она тихо высвободила ее и сказала:

– Не надо... нас могут увидеть... здесь не место.

Оба они шли счастливые.

– Господи, как хорошо! – прервал молчание Сухоруков. – И какой я был безумец... И вы все мне простили?.. И стою ли я вас!..

– Стоите, – отвечала Елена, – вы теперь хороший...

Они подходили к дому.

– Вот мы и пришли, – сказала весело Елена. – Теперь нам нужно обо всем объявить маман...

– Она разделит нашу радость...

Людмила Павловна Ордынцева не без волнения ожидала возвращения дочери из церкви. Она знала, что обедня уже кончилась; видела, что коляска Сухорукова подъехала к их дому пустая. Людмила Павловна поняла, что дочь ее возвращается с Сухоруковым по аллее и что, весьма вероятно, у них идут объяснения... Людмила Павловна продолжала тревожиться и бояться за свою дочь. Боялась она за нее, зная ее слепое увлечение Сухоруковым. Доверия у нее к Василию Алексеевичу не было. Быть может, и это его последнее письмо, о котором ей говорила дочь, это письмо и этот его насто-

ящий приезд – это только продолжение той недостойной игры, которую он вел с ее дочерью полтора года тому назад...

Но вот Людмила Павловна, глядя в окно из гостиной, видит, что дочь ее и Сухоруков идут по аллее веселые и жизнерадостные, как люди, между которыми уже установилась сразу большая близость.

«Боже мой! – подумала мать. – Действительно, быть может, все это у него серьезно... Действительно он хочет жениться на Елене!»

Эта мысль стала у нее крепнуть, когда она увидела, что Сухоруков, войдя в гостиную, кинулся к ней с горячим приветствием, целуя ее руки, когда она взглянула на дочь и заметила ее ликующий вид... Людмила Павловна начала убеждать, что происшедшее между молодыми людьми весьма значительно, что судьба Елены решена.

Наконец, после первых приветствий, Василий Алексеевич, усевшись в гостиной с Ордынцевой, приступил прямо к делу. Он спокойно и уверенно объявил матери Елены о сделанном предложении и о том, что он получил уже согласие девушки.

Услыхав это, Людмила Павловна, как нервная женщина, залилась слезами. Взволнованная, она вышла из комнаты. Елена последовала за ней.

Через несколько минут они вернулись в гостиную, и Людмила Павловна торжественно благословила свою дочь на брак с молодым Сухоруковым.



## XI

В Отрадном было принято обедать в три часа дня. В это воскресенье Василий Алексеевич домой к обеду не вернулся.

Так как молодой Сухоруков не предупредил своих, что дома обедать не будет, то Алексей Петрович и князь Кочура-Козельский ждали его к столу довольно долго.

– Куда это наш барин запропастился? – начал, наконец, допрашивать дворецкого Алексей Петрович.

– Они поехали в Горки, – отвечал дворецкий.

– В Горки! – удивился Алексей Петрович. – Зачем в Горки?

– Захар говорит, что к обедне, – отвечал дворецкий.

– Эка его по обедням носит!.. – удивился старик. Он пожал плечами и сказал князю Кочуре: – Пора бы, кажется, ему вернуться... Теперь все обедни давно кончились. Да не случилось ли чего? Не сломался ли у него экипаж?

– Я полагаю, – начал на это свои догадки князь, – Базиль просто-напросто у Ордынцевых обедает... Вот и вся причина, что его нет...

– Ну, это не думаю, – проговорил старик. – Василий ведь знает, что отношения у меня с Ордынцевыми совсем не те, что прежде были... А впрочем... если он действительно там, то я его не понимаю. Во всяком случае, я не понимаю, –

начал он уже с раздражением, — что ему за охота с этими Ордынцевыми продолжать возиться... Сядемте, однако, за стол, будем без него обедать.

Они сели и обедали без Василия Алексеевича.

Между тем, князь Кочура-Козельский был прав в своей догадке. Молодой Сухоруков в этот день действительно остался обедать в Горках. Людмила Павловна его задержала. И остался он не без основания. Надо было о многом переговорить с матерью и невестой, переговорить о дальнейших планах. При этих разговорах Василий Алексеевич объявил Людмиле Павловне, что он со своей будущей женой не будет жить в отраднинском доме, что он намерен выхлопотать у отца дозволение поселиться с Еленой в соседнем хуторе. Усадьба этого хутора отстоит всего в семи верстах от Отрадного. Называется хутор Образцовкой. Там имеется недурной домик в пять комнат. Домик этот до сих пор служил для приезда господ, когда они охотились около Образцовки. Имеются при домике и надворные постройки. Образцовская усадьба будет для них земным раем. Говоря все это, Василий Алексеевич не объяснил ни матери, ни невесте действительной причины своего решения так устроиться. Причина эта заключалась в том, что молодой Сухоруков находил неудобным жить с женой в атмосфере отраднинского дома, в атмосфере «барских барынь», весьма не подходящей для его будущей семейной жизни.

Итак, как мы сказали выше, в сегодняшний воскресный

день Василий Алексеевич не вернулся домой к обеду. Он приехал в Отрадное в шесть часов вечера, когда его отец, по обыкновению, отдыхал.

Прибыв домой, молодой Сухоруков решил говорить непременно сегодня же со стариком о своем деле. Так как за ужином будет присутствовать постороннее лицо, князь Кочура-Козельский, то Василий Алексеевич поведет с отцом речь о женитьбе после ужина в отцовском кабинете, когда они там останутся вдвоем. Василий Алексеевич был уверен, что старик не будет с ним много спорить по поводу задуманного брака. Правда, Ордынцевы небогатые люди, но они столбовые дворяне, хорошей фамилии. Невеста его – девушка образованная, с прекрасной репутацией. Чего же еще лучше желать?.. Он, женившись на Ордынцевой и поселившись в Образцовке, будет продолжать ведение хозяйства в имениях отца, будет продолжать помогать ему, будет старику той опорой, о которой тот мечтал. Уже и теперь его управление сказалось хорошими результатами. Недавно он передал отцу значительную сумму денег от удачной продажи хлеба из Отрадного. Отца он будет навещать в его отраднинском доме. С его женитьбой ничего, в сущности, не изменится для старика ни в его жизни, ни в его привычках.

Все это молодой Сухоруков будет говорить сегодня отцу после ужина в его кабинете.

Василий Алексеевич пришел в столовую за несколько минут до начала ужина. Ужинали в Отрадном в девять часов

вечера.

Оказалось, что в это время отец его развлекался игрой на бильярде, который помещался рядом со столовой. Партнером старика был князь Кочура-Козельский.

– А вот и Василий! – сказал Алексей Петрович, увидав сына. Но он не стал ни о чем его расспрашивать. Он был занят своей игрой. По-видимому, старик играл «с ударом», и его тешило, как князь Кочура сердился. Князь проигрывал и был действительно смешон, выражая порывисто свою досаду на неудачу в игре. Пробило девять часов.

– Мы, князь, после ужина dokonчим, – сказал старик. – А теперь пора и за стол!.. Часы пробили к ужину... Я люблю аккуратность.

Они уселись. Ужин начался.

– Ты был сегодня у обедни в Горках? – заговорил наконец Алексей Петрович, обращаясь к сыну.

– Да, отец, – отвечал Василий Алексеевич, – я ездил туда. Я забыл предупредить тебя об этом...

– У тебя там дорогой разве что случилось? – перебил сына старик. В тоне его чувствовалось раздражение.

– Ничего не случилось... Все у меня было благополучно, – Василий Алексеевич с некоторым удивлением посмотрел на отца.

– А если так, то ты, Василий, в другой раз, пожалуйста, говори вперед, когда почему-либо дома не обедаешь. Мы с князем тебя к обеду ждали-ждали... животики наши подве-

ло...

– Виноват, отец, – отвечал молодой Сухоруков, – я не ожидал, что придется опоздать.

– Да где ты был-то? Где обедал сегодня? – продолжал свой допрос Алексей Петрович.

– Я обедал у Ордынцевых... Людмила Павловна меня задержала...

– У Ордынцевых!.. Это и-н-т-е-р-е-с-н-о... – произнес Алексей Петрович, как-то особенно растягивая слова. – Что же ты, любезный друг, без князя к ним поехал? – заговорил он уже шутливо. – Я помню, ты прежде, бывало, без него к ним не ездил. Посмотри-ка, какой он, князенька, грустный по этому случаю сидит...

– Теперь я Василию не нужен, – сказал не без ядовитости князь Кочура. – У него теперь с m-lle Ордынцевой без меня наладилось.

Василий Алексеевич ничего не ответил. Видно было, что ему не до шуток.

– Ну да это мы все после разберем, – проговорил сквозь зубы Алексей Петрович. – Теперь буду вам мои новости рассказывать. Я, господа, – начал свои обыкновенные ужиные разговоры старик, – сегодня с почты получил преудивительное письмо. И, представьте себе, от кого? От почтеннейшей Лидии Ивановны. Да-с! Подумайте, как мне это было приятно. И начинает она ко мне свое послание самым странным образом. Начинает следующим воззванием: «Мой ангел, Ва-

ше Высокоблагородие»... Как вам нравится это введение? И как его прикажете понимать? Ведь если я ей «ангел», так при чем тут «Ваше Высокоблагородие». Если я ей «Высокоблагородие», то при чем тут «мой ангел».

– Мне думается, – заметил князь Кочура, – это, так сказать, совмещение чувств любви и почтения...

– И вот она, – продолжал Алексей Петрович, – в этом своем письме совмещает все эти чувства и изливает разные благодарности за свою «жисть» в Отрадном и еще говорит, что она со своим музыкантом открыли там в Москве игорный дом, говорит, что это дело выгодное, что у ее мужа много знакомых «ахтеров» и «ахтерок» и разных еще там красавиц и что она у своего мужа управляет всем хозяйством... Ведь вот, подумаешь, какая дура! – резко сказал старик. – Очень мне интересно все это знать!.. Знать о том, что эта дрянь теперь в Москве со всякой сволочью возится...

Видно было, что Алексей Петрович сегодня был не особенно в духе. Он не церемонился в выражениях.

– Напрасно вы, вельможа Сухоруков, – начал успокаивать старика князь Кочура-Козельский, – напрасно вы так неблагоприятно к этому письму относитесь. Ведь она этим письмом как бы приглашает вас к себе пожаловать, когда вы будете в Москве... И, наверно, у нее превесело, у этой Лидии Ивановны... Должно быть, у нее там и актрисы хорошенькие... в особенности, которые из балета... и потом всякие эдакие девицы, – начал смаковать князь Кочура.

– Вот разве что у нее там актрисы собираются, – сказал с усмешкой Алексей Петрович.

– Ну да! Ну да! – подхватил князь. – Непременно у нее там все это есть, и даже, я прошу вас, вельможа, когда мы с вами в Москву поедем, вы к ней соберитесь и меня с собой возьмите... Мы с вами там поиграем в «Фараончик»... Наверно, у нее там недурно... Она препрактичная женщина, эта Лидия Ивановна!

– Недурно-то оно недурно, – сказал на все это Алексей Петрович, несколько смягчившись, – но только, князенька, в таких домах нашему брату следует быть осторожным, а вы, сиятельство, человек легкомысленный... Не правда ли, Василий? – обратился он вдруг к сыну. – Да что ты, любезный друг, – сердито сказал он, – сегодня такой насупленный сидишь?..

– У меня к тебе дело, отец, есть, – отвечал Василий Алексеевич. – Мы сейчас ужинать кончаем, так после ужина пойдем в твой кабинет. Надо бы мне с тобой о деле поговорить...

– Что же, Василий, поговорим и о делах, – согласился старик. – И у меня к тебе один разговорец тоже имеется, – произнес он, как-то особенно подчеркивая. – Ну-с, князенька, – обратился Алексей Петрович, вставая, к Кочуре-Козельскому. – Мы нашу партию, стало быть, уж завтра доиграем. Я с Василием делами займусь... Мы будем с ним о делах наших беседу вести. Пойдем, любезный друг, пойдем, – говорил старик сыну. – Что-то ты мне там в кабинете про дела

наши наскажешь!..

## ХП

Отец и сын Сухоруковы вошли в кабинет. В кабинете разливался мягкий полусвет от старинной олеиновой лампы с абажуром, стоявшей на письменном столе. Алексей Петрович медленно опустился в кресло около стола, Василий Алексеевич сел против него. Лицо молодого Сухорукова выражало решимость. Он готовился приступить к своему разговору с отцом. Но старик предупредил его и начал говорить первым.

– Не знаю, какое у тебя дело, Василий, – заговорил он, – но сначала мне самому нужно будет серьезно объясниться с тобой. Сейчас за ужином я сдержал себя... Там был князь, там была наша прислуга... Я не решился это начинать при посторонних. Ну а теперь, когда мы одни, уж ты извини меня, если я сделаю тебе некоторый реприманд по поводу твоего неправильного ко мне отношения. Уж как хочешь... а это придется тебе от меня выслушать...

– Какое неправильное отношение? – сказал удивленный Василий Алексеевич.

– Пожалуйста, Василий, так не удивляйся, – проговорил насмешливо старик. – Больших глаз не строй. Это совершенно лишнее... Дело тут вот в чем.

Мне очень и очень не понравилось, когда я сейчас от те-



бя узнал, что ты обедал у Ордынцевых. Для меня это был сюрприз неожиданный. Я не могу понять, как это ты решился, живя со мной, открыто быть у людей, из-за которых я недавно вынес от тебя укоры в моей по отношению к ним бессовестности. Да, да, Василий! Укоры эти от тебя были, и ты у меня даже просил извинения. Но ведь твое сочувствие этим людям и, стало быть, осуждение меня не знают уже границ. Я тогда простил тебя, простил твои дерзкие слова... То было наше домашнее дело, теперь же твоим визитом в Горки ты выражаешь уже перед всеми как бы демонстрацию против меня, отца твоего... Да, демонстрацию! Пускай, мол, все знают, что я, молодой Сухоруков, куда благороднее своего папеньки... Пускай все знают, что я, сынок его, выражаю мое сочувствие несчастным жертвам злого старика, выражаю сочувствие этим обездоленным людям, у которых мой родитель бессовестно, не по-христиански, отнял их собственность!.. К величайшему моему горю, – продолжал старик, все более и более возбуждаясь, – с некоторых пор ты с твоим святошеством, тебя обуявшим, все это мне начал приписывать, и такие у тебя про меня стали слагаться мысли... Что ж тут поделаешь! Насильно мил не будешь!.. Но у меня есть право от тебя требовать, чтобы ты, если ты живешь со мной, прекратил бы эти уже явные против меня действия, чтобы ты не повторял больше твоих визитов в Горки... Все, что я сказал сейчас, вполне ясно. Что ж ты молчишь, Василий? Успокой меня хоть на будущее время...

Василий Алексеевич встал. Глаза его горели.

– Дело, о котором я хотел говорить с тобой, отец, – начал он решительно, – дело это разъяснит тебе все. Сегодня я сделал предложение Елене Ордынцевой и получил ее согласие, а также согласие ее матери на наш брак. Я пришел, отец, просить тебя дать мне твое благословение. Я люблю Елену Ордынцеву... О ней я только и думал, когда ехал сегодня в Горки. Никого я не осуждал и не осуждаю. Ни на какие демонстрации против тебя я не посягал. Я только любил и люблю Елену Ордынцеву, стремился и стремлюсь устроить с ней мою жизнь. Вот и вся моя вина перед тобой...

Прошла минута молчания.

– Это совсем уж неожиданно, – заговорил, наконец, Алексей Петрович. – Это, можно сказать, неожиданный в моих глазах бенефис для обездоленных мной мамыши и ее милой дочки. Я взял у них лесок, а они берут у меня сына... Недурно все это у вас устроилось... И все это так стремительно произошло... Да!.. Стремителен ты, любезный друг!.. Не всегда только, Василий, стремительность такая бывает полезна... И вот мне чудится, как бы мы с тобой из-за этой твоей стремительности не поссорились не на шутку...

– Я был уверен, отец, – начал свою речь Василий Алексеевич, – что ты согласишься на этот брак. И почему тебе не согласиться? С моей женьбой я останусь тем же, что я есть теперь, – останусь твоим усердным работником, управителем твоих имений. Ордынцева – девушка хорошая. Ссо-

рился ты с ее отцом, а не с ней.

– Этому браку не бывать! – проговорил вдруг, подняв резко тон, Алексей Петрович. – По крайней мере, я все сделаю, чтобы он не осуществился. Я ведь человек одной породы с тобой – такой же решительный, как и ты... И вот что я сделаю, мой друг. Я сейчас же сяду писать письмо старухе Ордынцевой, что если ты женишься на ее дочери, то я тебя лишу наследства. Напишу ей, что при этом браке ты от меня ничего не получишь, что твоя женитьба будет только разведением нищих... Пускай старуха ловит других женихов, у которых более покладистые отцы...

– Ты этого не сделаешь, отец! – сказал Василий Алексеевич, страшно взволнованный.

– Нет, я это сделаю, – ответил старик, – и поступлю так для твоей же пользы... Я остановлю тебя от глупейшего шага в жизни твоей, потому что твое увлечение этой бесприданницей есть истинная блажь, истинная твоя глупость...

– Ты этого не сделаешь! – говорил уже вне себя Василий Алексеевич. – Если бы ты это сделал, то ты перестал бы быть Сухоруковым... Если бы ты это сделал, то тогда в глазах всех ты стал бы низким человеком, бездушным, злым эгоистом, который из-за мелкого самолюбия, из-за глупой ссоры с умершим уже отцом невесты расстроил счастье своего единственного сына... Опомнись, отец! На кого ты теперь похож в своей злобе!.. Наконец, еще вот что скажу тебе. Твоя эта злоба – бессильна... Я не боюсь быть нищим, и Елена

тоже нищеты не боится... И мы все-таки женимся, и Бог соединит нас...

– Я тебе покажу, какой я бессильный, – тихим шепотом проговорил старик, встав со своего кресла и подходя к сыну, – я тебе покажу, какой я бессильный, – повторил он еще раз. Он вдруг внезапно со всей своей яростью схватил сына обеими руками за воротник сюртука и начал трясти его так, что пуговицы полетели. – Ах ты, щенок! – закричал он. – Ах ты, отродье отвратительное! – Он с необыкновенным бесенством отбросил от себя сына.

– Уйди, Василий! – заревел он. – Уйди от греха! – Он схватил со стола лампу и хотел бросить ее в сына.

Василий Алексеевич вышел. Он шел медленно и тяжело дышал. Сзади за ним доносились ругательства отца. Он прошел, словно в смутном страшном сне, через анфиладу комнат, прошел через галерею, направился прямо в свою спальню, которая была освещена лампадой, горевшей у образа. В изнеможении Василий Алексеевич сел в кресло и закрыл лицо руками. Надо было собраться с мыслями.

### ХІІІ

Часы пробили одиннадцать. В комнату вошел Захар. Он хотел было зажечь свечи и помочь барину раздеться.

– Оставь меня, Захар, – сказал Сухоруков. – Я лягу сам... Мне ничего не нужно...

Захар ушел.

Да, нужно было Сухорукову собраться с мыслями... Но он долго не мог прийти в себя. В голове его носились беспорядочно какие-то обрывки тяжелых беспросветных дум. Долго сидел он, закрыв лицо руками, в застывшей позе человека, не могущего опомниться от того, что произошло. «Эта безобразная сцена с отцом! Эта ненависть старика, так ярко прорвавшаяся! Эта страшная его злоба! Что это такое, что это за ужас?» – спрашивал себя Василий Алексеевич. Ничего подобного он не предвидел и не ожидал.

Но минуты растерянности начали понемногу проходить. Он стал вдумываться в свое положение, в положение своей невесты, старался угадать будущее поведение отца.

«Да, ведь действительно, – думалось молодому Сухорукову, – отец способен написать такое письмо Ордынцевой... от него это станется. Отец так зол теперь, что на все способен... И он этим своим письмом смутит страшно старуху... Та замечется, испугается тех испытаний, которые грозят ее дочери, если отец лишит меня всего. И он, я теперь вижу, не остановится и перед этим шагом: он ввергнет нас в нищету... И мать Елены будет по-своему права, если начнет уговаривать дочь хотя бы отложить свадьбу, если будет спешить увезти ее в Москву и устроить ее там в институте. И как все это отразится на Елене?.. Наконец, – мелькнула вдруг предательская мысль в разгоряченной голове Василия Алексеевича, – прав ли он будет сам, если будет во что бы то ни стало настаивать

на своем этом браке... Прав ли он будет, если поставит Елену в тяжелые условия, полные лишений... Да и выдержит ли она эти лишения? Ведь это он сгоряча мог закричать отцу, что Елена нищеты не боится... Но так ли это? И есть ли на свете человек, который не боялся бы ужасов бедности? И сможет ли он сам, своими силами, выбиться?.. Сам-то он что из себя представляет? Он, недоучившийся в университетском пансионе отставной офицер, прожигавший свою жизнь? Сам-то он на что способен?.. На что способен он, не научившийся серьезно никакому делу и только недавно вставший в положение управляющего имением своего отца?»

«Я был как ребенок во всем том, что совершилось, во всем том, как поступил с отцом, – думал с горечью Василий Алексеевич. – Необходимо было не раздражать его, добиться тихими просьбами его согласия на брак... Надо было все предвидеть... не действовать очертя голову... Надо было прежде всего завоевать материальное будущее для спокойствия Елены – для спокойствия той, которую я так люблю и которую не в силах теперь оберечь. И мне так страшно за нее, за то, что ей придется испытать... Что же мне делать! Что мне делать!» – повторял он в отчаянии, не находя выхода из своего положения.

Василий Алексеевич словно очнулся от тяжелого сна. Он поднял голову и увидел перед собой висевшую в углу икону, освещенную мерцающим тихим светом...

– А где же моя вера! – вдруг воскликнул он, глядя на об-

раз. – И как же я малодушен, что забыл все то великое и чудесное, что произошло со мной так недавно там у мощей... что произошло в Огнищанской пустыни!.. Господи, прости мне слабость мою!.. Господи, подкрепи меня! – взывала душа его в порыве, его охватившем.

И Василий Алексеевич встал на молитву перед иконой. Он начал читать свои молитвы, которые уже хорошо знал... Он читал их и вновь перечитывал без конца. Наряду с этими молитвами стали в душе его проноситься образы святых друзей его – Митрофания, отца Илариона, образ его матери... И все эти видения чередовались с его горячими возгласами, вырывавшимися из глубины его сердца. – Господи, научи меня исполнять Твою волю! Да будет она во всем! – И минутами ему становилось легко на душе, и он начал верить, что путь его будет ему указан, что скоро прояснится все.

Но что поражало молодого Сухорукова, что заставляло опять мучиться его сердце – это то, что среди этих хороших минут откуда-то врываются в поле его сознания разъедающие мысли, говорящие о том, что Елена будет им потеряна и что сам он теперь потерянный человек... И тогда, с этими набегам тревожных мыслей, он опять начинал чувствовать себя словно в отчаянии, чувствовать себя погибшим в дремучем лесу своих сомнений...

Так проходила вся эта ночь в волнах веры, молитвы и сомнений, прокрадывавшихся в его душу.

– Да что же, наконец! Ведь великое чудо у гроба Митро-

фания со мной было! Ведь чудеса из того мира не оставляют меня и посейчас! – вдруг воскликнул Василий Алексеевич с каким-то гневом на себя. – Ведь в минувшую ночь я только что видел мою мать во сне, и она, я начинаю вспоминать, благословила меня на брак... Да, это было!.. Она благословила меня образом Митрофания... Я теперь это ясно вспоминаю. И какой же я маловер малодушный, – укорял себя с сердцем Сухоруков. – Брак мой непременно совершится... И искушения пройдут... И я буду счастлив. Мать моя не оставит меня... Она и сейчас со мной здесь молится...

Василий Алексеевич глубоко вздохнул. Он стал опоминаться. В комнате брезжил уже свет.

– Но что это!.. Я вижу ее!!! – Сухоруков вдруг увидел мать свою недалеко от себя, стоящей тут же, в комнате... И это не был сон. То было наяву. Он ясно это сознавал.

Она стояла и со светлой улыбкой смотрела на него. Тихими шагами подошла к нему, вся какая-то воздушная, как бы не касаясь земли. Вот она ближе, ближе... Он видит прямо перед собой ее полные любви глаза... И вдруг она вся вошла в него. Да, она вся проникла в его душу... Она уже в нем, и он ее не видит, а чувствует уже в себе. «Что со мной!» – воскликнул он, пораженный.

«Это не сон, это наяву!» – пронеслось в его сознании.

И он почувствовал необыкновенное в себе спокойствие – спокойствие во всем существе своем. Сердце перестало волноваться. Уверенность счастья, которое должно наступить,



разлилась в нем. «Не бойся, сын мой! Все испытания пройдут», – говорил ему тихий голос, и он узнал этот дорогой ему голос – это был голос его матери.

Но вот голос умолк... Василий Алексеевич оглянулся вокруг себя. Земная жизнь, жизнь земных впечатлений, начала входить в свои права. Он увидел, что в комнате было светло. На дворе медленно падал первый снег.

В комнату вошел слуга его отца Егор:

– Барин вас сейчас к себе требуют.

– Господи, ужели чудо будет?!.. – мелькнуло в голове Василия Алексеевича.

Он побежал к отцу. Войдя к нему, он увидел отца сидящим на диване прямо против двери.

– Василий! – встретил его отец. – Я эту ночь не мог сомкнуть глаз... Ты сводишь меня с ума!.. Я не знаю, что это... какие силы помогают тебе, но ты переломил меня! Я не хочу тебя терять. Иди, Василий, женись на Ордынцевой... Я благословляю тебя на этот брак. Но слушай, сын! – сказал старик, вставая с дивана, чуть не крича на молодого Сухорукова. – Женись скорее!.. Устрой сейчас же свою свадьбу. Устрой ее в нашей церкви, в Горках... где хочешь... Только спеши с твоей этой женитьбой. Пройдет время, и я за себя не ручаюсь, я опять передумаю... опять начну все рвать. Поезжай к невесте, уговори ее сейчас же ехать с тобой в церковь, уговори на это ее мать.

Василий кинулся к отцу... «Силы из мира невидимого

спасли меня, – пронеслось в его голове, – это они сломили волю отца!»

В скором времени свадьба Василия Алексеевича состоялась в Горках. Молодые после свадьбы устроились в Образцовке. Когда они приехали на поклон к Алексею Петровичу, он встретил их радушно; он обласкал невестку. Началась семейная жизнь молодого Сухорукова.

## ЭПИЛОГ

Женитьбой Василия Алексеевича Сухорукова на девице Ордынцевой мы заключаем нашу повесть. Повесть эта, как видят читатели, коснулась краткого периода жизни Василия Алексеевича, периода, когда произошел перелом в его нравственном устроении. То был период, полный различных испытаний, яркий по своим мистическим переживаниям.

Через год после женитьбы Василия Алексеевича умер его отец. Несмотря на полученное отцом наследство от брата, о чем мы говорили в нашей повести, дела, оставшиеся после смерти старика Сухорукова, оказались запутанными. Немалого труда стоило Василию Алексеевичу устроить свою материальную жизнь и осуществить планы улучшения благосостояния отрадных крестьян. Только после многих лет упорной работы дело это наладилось.

Перелом душевной жизни Василия Алексеевича привел его от неверия к твердой христианской вере. Дальнейшая жизнь Сухорукова протекла среди семьи сравнительно спокойно. Жена его Елена Ивановна оказалась также религиозной и набожной. Оба Сухоруковы всю жизнь поддерживали связь со старцем Иларионом. Пока был жив старец, они ездили к нему и пользовались его советами и духовными руководствами. Когда старец умер, они продолжали ездить в пустынь на его могилу. Интересна та психология, которая лег-

ла в основание такой прочной связи Сухорукова со старцем. Мы лично слышали несколько раз от Василия Алексеевича, что в его душе оставили глубокий след слова старца, сказанные им незадолго до своей смерти.

Слова эти были знаменательными; они напоминают то, что некогда говорил Серафим Саровский своим ученикам. Отец Иларион сказал:

– Когда меня не будет с вами, когда на вас нападут земные скорби и сомнения, приходите ко мне на могилку... Излейте на ней свою душу... Как вы с живыми говорили, так и тут... И услышу я вас... И ваша скорбь отлетит и пройдет... И за гробом я буду молиться о вас...

Василий Алексеевич и жена его верили в эти слова старца; они ощущали, что духовная связь их с отцом Иларионом продолжалась и после его смерти.

И замечательно было в жизни Сухоруковых то, что земные скорби и сомнения ими легко преодолевались. Жизненные удары разбивались их верой и молитвами, укреплявшими их силы. Сухоруковы производили на окружающих впечатление людей счастливых и удовлетворенных.

Бог благословил Сухоруковых семейством из четырех дочерей и сына, которого они называли Митрофаном в честь святого, чудесно исцелившего Василия Алексеевича. Когда дети Сухоруковых стали на ноги и началась их самостоятельная жизнь, Василий Алексеевич и Елена Ивановна решили уйти из мира в монастырь. Они постриглись в монашество в

один и тот же день. При своем пострижении Василий Алексеевич принял имя монаха Вассиана, а Елена Ивановна – монахини Олимпиады.

Монах Вассиан умер в 80-х годах прошлого столетия. Умер он с горячей верой в будущую загробную жизнь, жизнь личную, жизнь полную ощущений христианской любви и истинного счастья, полную несказанных переживаний от созерцания к созерцанию и от постижения к постижению высших надмирных тайн...

После смерти отца Вассиана дети его нашли в его бумагах такое характерное завещание:

«Милые дети мои! И за гробом благословляю вас. Близки и дороги вы моему сердцу. Примите и усвойте себе мои последние отцовские, не говорю завещания, а просьбы. Да будет мир среди вас. В мире все счастье. Боритесь с духом гордости и тщеславия, разъединяющим людей, и помните слова Псалмопевца: не надейтесь на князи... человеческие... Помните, что вся эта человеческая слава сердца нашего насытить не может...»

И дети свято хранили завет отца и чтили его память. Считаем не лишним упомянуть, что отличительной чертой детей Сухоруковых, кроме их взаимной любви друг к другу, была их жизнерадостность. Они легко переносили выпавшую на их долю тяжесть нашей земной жизни.